

26918.

Отъ Общества - Трудовой Кассы  
Даруемые.

8<sup>го</sup> Октя. 1859<sup>го</sup>  
Н. В. Ш. г.

Александръ Гурьевъ

Трудовой  
Кассы

Капитанъ,  
отъ Трудовой Кассы

Н. В. Ш. г.

Шрифт *Rosalion* был изготовлен по образцу шрифта копии  
оригинального издания Военного Сборника  
в память о роде Розалион-Сошальских

А. Т. Розалин-Сомаловский

Записки  
русского офицера,  
бывшего в плену у турок  
в 1828 и 1829 годах



ХАРЬКОВСКИЙ  
ЧАСТНЫЙ  
ГОРОДСКОЙ  
УСАДЬБЫ

ХАРЬКОВ  
2 0 1 1

**А.Г. Розалион-Сошальский.**

Записки русского офицера, бывшего в плену у турок в 1828 и 1829 годах. - Х.: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2011. - 108 с.

Редкие по слогу мемуары человека, который описал свой плен в Турции, как будто это было путешествие в неведомую страну. Изложение достойное самых лучших прозаиков своего времени. Приятное чтение и новые открытия, все это на каждой странице этого короткого произведения. Кроме этого книга дополнена биографическими сведениями об авторе, чей род ведет свое происхождение из Слободской Украины, от писаря Изюмского слободского казачьего полка Юрия Розалиона.

Книга предназначена для всех кто любит свою родину - Слободскую Украину!

Издание четвертое.

**ББК 63.3 (2) 47**

## Русско-турецкая война 1828–1829 гг. в освещении русского офицера, бывшего в плену у турок

Кажется, словосочетание «русско-турецкие войны» плотно вошло в школьные учебники и историческую память, когда речь идет о Российской и Османской империях в XVIII – XIX вв. Многих историков и многочисленную когорту любителей прошлого это словосочетание даже не заставляет задуматься о, собственно говоря, трагедийности минувших лет, столкновении не только двух огромных империй, но и религий, мировоззрений, культур. Насущные проблемы современности, с которыми мы встречаемся на каждом шагу, в эру глобализации существовали на протяжении многих столетий и особенно ярко проявлялись на поясе от Балкан до Кавказа, где столкнулись две разные цивилизации с неистовым, казалось бы, конфликтом «священных войн» и примерами взаимопонимания. Этот противоречивый диалог продолжается и сегодня.

Речь в воспоминаниях Александра Григорьевича Розалион-Сошальского идет о русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Причины этого военного столкновения двух конфликтующих государств следует искать в ситуации на Балканах в середине 20-х гг. XIX в. В 1821 г. в Греции вспыхнула национально-освободительная война против турецкого владычества. Война греков за независимость имела огромный отзыв в Европе, и особенно остро симпатии к греческим единоверным повстанцам ощущались в России. Но, несмотря, на помощь со стороны европейских стран, Османской империи вместе с союзными египетскими войсками удалось постепенно добиться перелома в ходе войны на свою пользу и в середине 1825 г. заставить капитулировать восставших в афинском Акрополе. Эта ситуация не устраивала Россию. В начале 1826 г. русское правительство обратилось к Порте с нотой о нарушении последней условий Бухарестского мирного договора 1812 г. Угроза войны вынудила султана подписать Аккерманскую конвенцию о контроле России над устьем Дуная, предоставлении автономии Молдове и Валахии, широких прав русским купцам. Но Россия продолжала поддерживать греков и приняла участие в морском Наваринском сражении (октябрь 1827 г.), где турецкий флот был расстрелян эскадрой Англии, Франции и России, в свою очередь Османская

империя оттягивала время с выполнением мирных условий. 8 октября 1827 г. турецкий султан объявил об отказе от Аккерманской конвенции и о начале «священной войны» с Российской империей. В свою очередь 14 апреля 1828 г. Россия объявила войну «Турции», начав наступление на Балканы. На этом направлении русскими войсками руководил известный военачальник Петр Христианович Витгенштейн. Однако в начале войны русским командованием было допущено несколько стратегических ошибок. Витгенштейн сосредоточил основное внимание на осаде множества крепостей, особенно Силистрии (северо-восток Болгарии), распылив свои силы. В то же время русская армия достигла существенных успехов на Кавказе.

В начале 1829 г. и русская и турецкая стороны изменили руководство армиями. На место Витгенштейна назначен фельдмаршал Иван Иванович Дибич. Русская армия нанесла поражения туркам под Кулевчи (31 мая 1829 г.), 18 мая 1829 г. капитулировала Силистрия. Блистательным маневром, армия Дибича стремительно форсировала Балканы и 8 августа захватила Адрианополь (Эдирне). Угроза нависла непосредственно над Стамбулом и эти обстоятельства вынудили султана пойти на мирное соглашение. 5 сентября 1829 г. был заключен Адрианопольский мир. К России отошло устье Дуная и восточное побережье Черного моря; Сербии, Молдове и Валахии была дана автономия, Греция становилась независимой. Блестящие победы русской армии за репликациями высших армейских чинов, увлекательнейшие описания баталлий, наверное, оставляют в тени воспоминание военнопленного, простого русского офицера, пережившего тяготы плена и написавшего свои тоже очень живые наблюдения о той войне, о быте и обычаях иного мусульманского мира. И эти записки интересны, злободневны и поучительны.

*Владимир Маслийчук канд. ист. наук*

# ЗАПИСКИ РУССКОГО ОФИЦЕРА, БЫВШЕГО В ПЛЕНУ У ТУРОК В 1828 И 1829 ГОДАХ.

## ПРЕДИСЛОВИЕ.

Записки эти, начатые мною еще в плену летом 1829 года, закончены по освобождении в 1830 и частью 1831 годах.

Рассказ мой сам собою характеризует эпохи, в которые он выходил из-под моего пера. В нем легко отличить страницы, написанные страдальцем, прикованным еще к месту своего заточения, от оживленной, веселой болтовни человека, который смеется над глупостью своих тюремщиков, зная, что не услышит уже грома цепей.

## ГЛАВА I.

Командировка из-под Силистрии к Шумле. — Характер страны. — Встреча с Турками. — Плен вблизи русского лагеря. — Шумла. — Представление пленных сераскиру. — Турецкий лагерь. — Гуссейн-Паша. — Переводчик Мустафа. — Вино и гости. — Турецкая экзекуция. — Письмо из нашей главной квартиры от П. Д. Киселева. — Отправление в Константинополь. — Наш конвой; Дивитарь; Мустафа-кавас; Переводчик Николай. — Осман-Базар. — Большие Балканы. — Город Селимно. — Румелийцы. — Адрианополь. — Улан в турецкой бане. — Мутыш-Ага. — Люлле-Бургас. — Чорлу. — Селиврия. — Константинополь. — Порта и Кегая-Бей. — Великий драгоман. — Терехане-Эмини. — Зендхане, тюрьма адмиралтейства. — Переезд на остров Халки.

На войне, особенно при исполнении малых отдельных предприятий, иногда никакая предусмотрительность не может избавить от гибели или больших потерь. Несколько случаев, подтверждающих эту мысль, представляет наша война 1828 года с Турками.

Причина потерь заключалась в необходимости отделять иногда от войск небольшие отряды для действий в стране чрезмерно закрытой, лишенной дорог и неимеющей других жителей, кроме засевших в лесах, ожесточенных фанатиков. Неприятель, бегущий иногда перед нашими войсками, построенными в боевой порядок, часто наносил нам вред, нападая в числе неразумно превосходном, на малые части наших войск и истреблял их. Таков был случай, при котором я имел несчастье попасться в плен.

16 августа 1828 года, лейб-эскадрон С.-Петербургскаго уланскаго полка отправлен был из корпуса, блокировавшаго крепость Силистрию, с депешами в главную квартиру армии, находившуюся тогда под Шумлою. Имея особое поручение от командира корпуса, генерала от инфантерии Рота, я присоединился к этому эскадрону. Мы вышли 17 августа поутру и имели ночлег в 18 верстах, в селении Афлотарь.

Известно было, что пространство между Афлотарем и Шумлою (100 верст), особенно по близости к Шумле, было совершенно пусто, все жители<sup>1</sup> скрылись в леса и подстерегали напих, отделявшихся в небольшом числе от главных сил. Предшествовавшие нашему отряду никогда не возвращались назад без потерь.

Рассказы об угрозе, сделанной Турками эскадрону, ходившему последний раз в Шумлу, что вперед уже не удастся Русским ускользнуть из рук их, также и разнесшийся слух о пятнадцати тысячах неприятелей, идущих в подкрепление Силистрии, делали экспедицию нашу очень опасной. Несмотря на то, всякий желал в ней участвовать. Офицеры жаждали встреч с неприятелем, которые были у нас в корпусе еще довольно редки.

Из Афлотария мы вышли очень рано, рассчитывая путь таким образом, чтобы на другой день к вечеру прибыть в лагерь армии под Шумлою. Сперва места были несколько открытые, но скоро начался по дороге непрерывный лес. Кое-где видны были поляны и, в стороне, немногие селения.

В первый день мы видели только во время привала нескольких Турок, мелькнувших около леса.

Трудно, не испытав, представить себе тяжкое чувство, производимое видом опустелой страны, когда вы знаете, что люди, спокойно в ней жившие, оставили ее, чтобы бежать от вас и с раздраженным сердцем ждать в какой-нибудь засаде случая отомстить вам смертью за нарушение их спокойствия. Всякий предмет, напоминающий о человеке, дает этому чувству новую силу: дома, мечети, кладбища, одичалые животные<sup>2</sup>, бегущие при вашем появлении, все наводило уныние. Но особенное действие

---

<sup>1</sup> Булгария, как известно, весьма мало населена; Турки составляют, можно полагать, третью или меньшую часть обывателей, и живут преимущественно около крепостей; однако по дороге между Силистрией и Шумлою почти все селения имеют жителями Турок.

<sup>2</sup> Вообще все животные в оставленных селениях сделались весьма дикими. Мы видели несколько раз лошадей, которые с нашим приближением бросались в сторону и уходили с неимоверной быстротой. Козаки пускались, чтобы догнать их, но напрасно.



производили на нас свежие следы пребывания человека, напоминавшие о его ненависти к нам. Думай всякий, что хочет, но эта мысль произведена была во мне свежими арбузными корками, разбросанными в глухом и сумрачном лесу, на дороге, по которой мы проходили, принимая предосторожности, совместные с числом людей, каким можно было располагать.

По роду моей службы в Генеральном штабе, я должен был снимать дорогу, определяя по возможности расстояния, и осматривать позиции.

В первый день расположились мы для ночлега, пройдя одну пустую деревушку, на поляне.

На другое утро, едва эскадрон вошел в лес, по узкой дороге, как хвост его был атакован. С боку мгновенно раздались множество выстрелов из чащи: пули свистали, ранили и били, но неизвестно было ни число, ни точное местонахождение неприятеля.

По счастью, показавшаяся с боку поляна дозволила эскадрону удалиться от леса, выйти из-под выстрелов и, построившись, ожидать неприятеля на открытом месте. Однако же неприятель не выходил из леса.

Едва прекратилась стрельба, как услышали мы впереди перепалку козаков, составлявших наш авангард, с другими турками, засевшими также в лесу. Не оставалось более ничего, как идти шибче вперед, хотя бы между двумя огнями, отстреливаясь, сколько было возможно, в надежде, что пешие Турки не в состоянии будут следовать долго за эскадроном. Так и было: они скоро перестали стрелять, и мы, пройдя еще некоторое пространство и встретив поляну, остановились, чтобы привести все в порядок. Турки и здесь показывались из леса и даже стреляли, но как поляна была довольно обширна, то это нас не беспокоило. Наконец, отдохнув, уложив, как было можно, на две бывшие с нами повозки раненых, и пожалев об убитых, мы двинулись. Предстояло проходить самые опасные места; предосторожности были удвоены. Турки были открываемы еще несколько раз, но не смели более нападать. Однако же положение наше становилось час от часу труднее и опаснее. Одно дефиле сменялось другим; невозможность защищаться в них в случае нападения увеличивалась. Сверх того, известно было, что предшествовавшие нам отряды здесь наиболее подвергались атакам турок, число которых увеличивалось с приближением к Шумле, находившейся с ними в беспрепятственном сообщении. Везде были видны следы их нападений: сожженная деревня, в которой

русские остались победителями, дорога, усеянная бумажками от патронов, разбитые ящики, повозки и пр.

Не должно было терять времени, — и мы шли без отдыха.

Мы вышли наконец из лесов, которые потянулись влево. Нам представилось обширное открытое пространство, ограничиваемое горами, за которыми, — говорили нам проводники и бывшие с прежними отрядами уланы, — находились Шумла и лагерь. У всякого отлегло на сердце, когда мы оставили за собою трудные места. Нам показывался вдали курган, на котором стоял, по словам улан, козачий пост. Уже мы надеялись встретить скоро кого-нибудь из своих. Пройдя верст пять мы достигли до пункта, где следовало своротить с шумлинской дороги, и, принявши влево, идти целиком к лагерю. Здесь замечено было несколько человек конных неприятелей за оврагом, вдоль котораго мы шли. Они скрылись в небольшом лесу. Козаки, шедшие впереди, скоро донесли, что направо, верстах в двух, показываются из долины какия то войска. Поднявшись с майором Шатовым (командиром эскадрона) на высоту, увидели мы тянувшийся, почти параллельно нашему направлению, отряд конницы, числом казалось человек до 400. Трудно было наверное узнать, турки или наши были это: положение наших войск нам не было известно и можно было полагать, что мы видели своих фуражиров. Скоро, однако же, замеченные нами всадники остановились, часть их отделилась и пошла против нас. Эскадрон приближался. Командир его, в полной надежде, что на удобном для действия месте может дать славный отпор этой толпе, хотя бы она втрое превосходила нас числом, решил выдержать бой, тем более, что всякое отступление делает турок дерзкими, и что не было никакой возможности искать где-либо опоры: главная квартира отстояла еще в 15-ти верстах и неприятель почти отрезал к ней дорогу. Эскадрон приблизился и построился в боевой порядок. Высланы были карабинеры встретить турок. Овраги, которых по недостатку времени не успели мы обозреть, давали неприятелю возможность действовать скрытно и, приготавлиаясь к обороне, мы не знали, что уже были отрезаны от своего лагеря турками, занимавшими овраги: виденная нами конница была только передовою частью их. Когда все это многочисленное войско бросилось на нас, нам не было спасения, — оставалось или сдаться, или погибнуть, но со славою. Начальник отряда решил на последнее.

Пули свистали со всех сторон; 16 карабинеров, твердо приняв первый напор неприятельских наездников, изумили их, заставили остановиться и сами отступили в порядке, ведя фланкерскую

перепалку с многочисленной толпою. Когда карабинеры приблизились к эскадрону, 4-й взвод понесся на встречу этой толпе. Удар был так силен, что Турки не могли его выдержать: они поддались назад, но мгновенно со всех сторон, как стаи воронов, понеслись другия толпы. Все смешалось, наших почти не было видно среди многочисленного неприятеля. Тогда раздалось: «марш! марш!» и остальная часть эскадрона ринулась в середину необозримой толпы врагов, чтобы спасти своих или погибнуть вместе с ними. Последнее сбилось: немногим удалось спастись<sup>3</sup>. Сеча была ужасная, место сражения усеялось трупами турок и наших. Последних скоро не стало и все прекратилось.

Во время атаки, я скакал на правом фланге и скоро увидел себя окруженным турками, из которых один выстрелил мне прямо в лицо<sup>4</sup>; в тоже время я получил удар в бок, надобно полагать сломленную пикой, — я свалился с лошади почти без чувств, но мгновенно очнувшись, увидел над собою чужую лошадь и в тоже время турка, наклоняющегося ко мне со своею пашкой. В каком-то оцепенении, я ожидал, лежа, своей участи и прощальными мыслями с семейством и светом, в полной уверенности, что турок, по обычаю отрежет мне голову. Тут я испытал, каково бывает в минуту такого рода смерти. Смятение чувств отнимает у них силу и живость. В одно мгновение рождается тысяча мыслей, но все они, так сказать, едва касаются души, которая от сильного волнения остается почти неподвижной. Уже воображал я мою голову откатывающуюся от трупа, воображал горесть семейства и родных при получении вести о моей гибели, и даже по какому-то странному воспоминанию прежних метафизических размышлений, думал: теперь решится загадка! Но все чувства эти были тупы и мысли темны; я, как

---

<sup>3</sup> Из числа последних был штабс-капитан Стрельников, который, как мне говорили, на раненой лошади, скрылся в лесу. Изнемогшая лошадь упала и раздавила ему ногу; он не мог из-под нее освободиться, пока четыре улана, также спасавшиеся, найдя его, не оттащили лошади. Они, взяв своего офицера на плащ, скитались по лесам, носили его, таким образом 12 суток в непрерывном страхе попасться в руки турок, изнемогая от голода и усталости, пока наконец не набрали на свой авангард под Силистриею.

<sup>4</sup> Теперь, когда прошло более 25 лет со времени этого события, я припоминаю, что никогда не мог дать себе отчета в том, как выстрел, полученный мною прямо в лицо (*a bout portant*), обнаружился только контузией лба над левым глазом. Место это было несколько дней вспухшим. Вероятно, турок, заряжая пистолет, сгоряча уронил пулю и удар произошел только от пыжа, крепко прибитого. 1855.

будто, не принадлежал уже этому миру<sup>5</sup>. Пусть назовут это перепугом или как хотят, я рассказываю истину, и желал бы, чтобы тот, кто не испытал, каково лежать под ножом, не делал слишком невыгодного обо мне заключения, в награду моей искренности<sup>6</sup>. Вдруг, турок схватывает меня за руку, выдергивает из-под лошади, стоящей надо мною, заставляет бросить саблю, бывшую еще в моей руке, и давая знать, что он не хочет убить меня, отводит несколько в сторону (толпа турок все еще неслась мимо нас, преследую рассеянных и сопротивлявшихся по одиночке уланов); обирает деньги, часы и серебряные мундирные вещи. Физиономия его смягчилась и я видел уже в ней ручательство за жизнь мою, как вдруг является другой претендент на меня и начинает жестокую ссору с первым. Не могли уже воспользоваться вещами, он желает по крайней мере приобрести пленника; я делаюсь предметом физического их состязания, так сказать, мерилом силы того и другого; их голоса возвышаются, лица дичают. В это время подъехал к нам чиновник и, сделав несколько кратких вопросов, решил их соперничество, отдав меня прежнему моему владельцу. Этот опять успокоился, взял меня за полу и повел мимо множества окровавленных трупов туда, где собиралась рассеянная толпа. Я объяснил ему, как мог, что мне некуда бежать, и что предосторожность не нужна — и шел уже свободно, пока привели ему коня; тогда он, сев сам, посадил меня на мою лошадь, бывшую у него в руках, взял повод узды и повел ее, предоставив мне держаться за седло или за гриву. Многие Турки подъезжали и угощали меня приветствиями, вероятно не очень благосклонными: давали, как говорится, нюхать мне свои кинжалы и пашки, — это продолжалось, пока мы не доехали до турецкого войска. Я изумился, увидев, что их было до трех тысяч.

Я нашел в числе пленных майора Шатова, поручика его эскадрона Риддершторма, жестоко раненаго пулею в бок навывлет, во время чудной его атаки с 4-м взводом, и поручика Кольванскаго полка Вишневого. Ужасно было наше свидание. Мы между

<sup>5</sup>Бездейственное мое состояние продолжалось не более нескольких секунд. Но такова быстрота мысли нашей, что я ничего не прибавляю, говоря, что все те ощущения мелькнули в душе моей.

<sup>6</sup>Позволю себе заметить, что если бы я, как говорится, струсил, то как офицер, не принадлежавший собственно к эскадрону, имел бы полное право ускакать за козаками, бывшими в авангарде и спасшимися, но военная честь не позволяла мне и думать оставить начальника отряда в опасности, когда я был прежде с ним неразлучен. Въехав с майором Шатовым на высоту, мы тотчас же увидели крайность нашего положения. Он спросил меня: «что, вы думаете, теперь остается нам делать?» — «Пробиться, если можно», отвечал я. — «Да, и я так думаю». 1855.

собою ни слова не могли сказать. Скоро, однако же, я увидел, что был счастливее своих товарищей: мой добродушный турок избавил от бывшей на шее у каждаго их них веревочки. Этот знак рабства был, впрочем, с них снят по приказанию начальника отряда, известнаго Алиш или Алишан-Паши. Скоро мы тронулись в путь. Турки шли без малейшаго порядка, всякий ехал где хотел, чалмоносцы мешались с регулярными войсками (Низам-Эскер), которые имели уже тогда фесы; солдат ехал перед своим офицером, каждый стрелял когда ему угодно, без всякой причины. Мой турок, узнав, что я понимаю немного по молдавански, вошел со мною в разговор и спросил, нет ли у меня еще чего-нибудь, и между прочим уверял, что пленным у них очень хорошо, и что нас отправят в Стамбул. Невозможно вообразить мучительного положения души в первые минуты плена; для меня самого теперь, когда уже сгладились эти впечатления, трудно представить всю силу их. Человек, в первыя минуты бедствия, его постигшего, бывает так удручен, что у него не смеет родиться ни одна надежда. Потеря свободы, плен у народа невежественнаго и свирепого, оковы, страдания физическiе и душевныя, тягостная разлука с семейством и всем родным, — все это страшно колебало и тяготило мои мысли. Турецкiй плен я считал тем же, что неволя у корсаров, и думал, что я уже собственность у какого-нибудь паши, у котораго буду, влача цепи, трудиться над цветниками, назначенными рассеивать скуку его одалисок. Слышал я также, что и самое правительство турецкое употребляло пленных, и даже офицеров, для работы на кораблях<sup>7</sup>. «Что такое пленник? Думал я, смотря вокруг себя и видя лишь чалмы и фесы, — существо, совершенно зависящее от своего победителя, лишенное всякаго гражданскаго быта». Расстроенный этими мыслями, я неохотно отвечал на вопросы моего турка и не обращал почти никакого вниманiя на внешнiе предметы, несмотря на их новостъ.

Мы не шли дорогой, а оставив ее слева, сделали большой обход целиком, и уже под Шумлою вышли на нее опять. Недалеко отсюда мы нагнали еще человекъ пятьсот конных турок, принадлежавших к отряду. Они отправлены были вперед, чтобы вести нескольких пленных солдат, взятых на фуражировке около Ени-Базара, куда отряд ходил в намерении сделать покушение на наши вагенбург, госпиталь и прочее, но оно было неудачно.

<sup>7</sup>Последнее оказалось несправедливым,—офицеры в прежние войны носили железное кольцо на ноге, но не ходили на работы.

Мы поднялись на крутую гору, покрытую колючим кустарником, проехали мимо нескольких батарей и наконец приблизились к въезду в Шумлу. Здесь нас остановили и построили в ряд гуськом, впереди солдаты, а офицеров позади. По этим приготовлениям я догадался, что дело шло о триумфальном шествии через лагерь. Этого еще не доставало!

Забили в бубенчики и мы двинулись<sup>8</sup>, везде было приметно большое движение и любопытство. Спустившись в горы и проехав часть города и лагеря, мы приблизились около 5-ти часов пополудни к ставке сераскира Гусейн-Паши. В некотором расстоянии от нее, нам велели остановиться и сойти с лошадей. Мимо паши провели по одному, сначала израненных и обнаженных солдат наших, а потом нас четверых. Каждый солдат был приводим к паше тем турком, который взял его в плен, — и этот, получив из рук сераскира награду, уходил вместе с пленником. Народ толпился около ставки и был разгоняем кавасами. Паша сидел в зеленой, довольно большой и богатой палатке на софе, с длинной трубкой, под которой лежала серебряная тарелочка на ковре, посланном перед софою. На том же ковре, поджавши ноги, сидели по обеим сторонам младшие паши. Сераскир имел вид весьма важный, поддерживаемый свойственной всем туркам медленностью в движениях.

Мы, офицеры, были поставлены подле палатки. Явился главный и может быть единственный медик турецких войск, или лучше сказать сераскира, армянин Абраам-Кассар. Он начал осматривать раны офицеров и видя, что я от изнурения едва мог стоять на ногах, сказал мне дурным французским языком, чтобы я сел на землю отдохнуть. Мой турок, закрытый теснящимися зрителями, расположился возле меня и вдруг взоры его были привлечены белой полосой, ясно оттенявшеюся на втором пальце моей левой руки. Он догадывался, что она происходила от кольца, снятого и спрятанного мною. Это было мое обручальное кольцо, которого я не хотел ни за что лишиться. Подъезжая к Шумле и боясь дальнейших осмотров, я снял его и всунул в палец перчатки, бывшей у меня в руке. Я худо рассчитал — стоило только надеть перчатку и кольцо было бы скрыто этим изобретением гяуров.

---

<sup>8</sup> Турецкая иррегулярная конница (дели или храбрые) имеет маленькие барабанчики, привязываемые к седлу назначенного к тому всадника — бой их совершенно однообразный, без всяких изменений, дающих и этому инструменту некоторый род музыкальности.

Взяв мою руку и показывая на кругообразную полосу, турок с большою настойчивостью требовал выдачи вещи, входящей в его добычу, и вдруг увидел в другой руке перчатку, схватил ее и хотел вырвать. Я не давал, между нами возобновилась борьба, которая без сомнения кончилась бы для меня также невыгодно, как и первая, если бы не подоспел ко мне на помощь Абраам. Он, узнав всю цену кольца для меня, приказал турку отстать от своего требования и грозил сказать папе, если он ослушается его. Этот знак внимания, оказанного мне в плену, не предсказывал ничего худого. Мне чрезвычайно было жаль, что я в эту минуту не имел скрытых каких-нибудь пяти червонцев, чтобы вознаградить турка за кольцо. Но вот, пришла его очередь представить сераскиру своего пленника и получить в награду 25 левов.

За этой церемонией следовал допрос. Оборванный и босой турок, в замаранной, старой чалме, говоривший дурным малороссийским наречием, служил переводчиком. На вопрос о числе войск, блокировавших Силистрию, мы отвечали, что в точности его не знаем, но что там находится шесть пехотных, четыре конных и два козачьих полка, из которых первые, как всякие, содержат по три тысячи, а вторые по 1,400 человек; сверх того множество артиллерии. Это было принято за истину, потому что мы старались избегать в своих ответах всего, что только могло вредить правдоподобию и казаться преувеличением. Потом сераскир спросил майора Шатова, сколько было у него под командой в сражении и узнав (хотя сначала и не хотел верить), что отряд имел только сто сорок человек, горячо вскричал тоном, в котором выражалось участие и даже некоторым образом укоризна за пролитие крови: «для чего же вы вступали в бой?» — «Если бы я знал, что найду столь великодушного победителя» — был ответ майора: — «то я бы покорился необходимости». — Паша был доволен комплиментом, ободрял нас, говоря, что государь его желает, чтобы с пленными обходились человеколюбиво и прилично их званиям, а потом велел показать нам в лагере квартиру.

Нас вели между множеством палаток, разбросанных без всякого порядка и почти переплетающихся между собою веревками, и указали наконец одну из них. Войдя в нее, мы увидели 15-го егерского полка прапорщика Котлярова, взятого за неделю при нападении на наш редут. Тут же было несколько турок. Множество солдатских егерских мундиров и киверов было нагромождено в углу палатки и разбросано по ней. Разного рода нечистота давала нашему новому жилью весьма неблагоприятный

вид. Предубеждение наше против него еще увеличилось, когда найденный здесь нами товарищ неволи сообщил, что один из присутствовавших турок, засаленный, небольшого роста старичишка, был палач, солитель всех ушей, которые мусульмане привозят для удостоверения в их победе<sup>9</sup>. Этих ушей тут стояло несколько боченков. Он же надзирал за пленными, на которых обыкновенно на ночь, для собственного обеспечения надевал кандалы. Все, что обещал прием Гусейна-Паши, показавшийся нам после отчаянных ожиданий наших весьма благосклонным, исчезло при этом виде и объяснений представлявшихся нам предметов. Но усталость превозмогла отвращение, производимое нечистотою в палатке. Каждый выбрал себе местечко<sup>10</sup>, чтобы прилечь, но тут заметили мы, что неподалеку разбивали другую палатку.

Скоро мы были в нее переведены и снабжены каждый десятком или дюжиной окровавленных егерских мундиров для изголовья, а болгарские циновки были посланы для постелей.

Спустя полчаса, пришел кавас в сопровождении переводчика, объявить, что сераскир желал опять видеть нас и торопил идти, оставляя тяжело раненных в палатке.

На этот раз паша был еще приветливее первого: обещал тотчас прислать своего медика для перевязки ран. Спрашивал, чего мы желаем, прибавляя, что он прикажет искать наш багаж, если он взят, и весь нам его возвратит. Сказал, что нас не будут заковывать, дал слово, что позволит донести нашему начальству о случившемся с нами, потом призвал своего дворецкого и приказал доставлять нам кушанье от своего стола. Одному из своих кавасов велел он доставить нам табак, трубки и ковры, чтобы накрываться по ночам, становившимися уже весьма холодными (26 августа). Ковры даны были нам немедленно, но трубок, не смотря на подтверждение паши и на уверение переводчика Мустафы, сделавшегося нашим собеседником, мы никогда не получали. Это обстоятельство заставило меня в первый раз заметить, что приказания всемогущих пашей, вопреки того,

<sup>9</sup>Нас уверяли, что низам-эскеру или регулярному войску запрещается отрезывать уши и рубить головы; запрещается и прочим войскам, но как у них нет столь строгаго повиновения начальству, как у низама, то это и не исполняется. Как бы то ни было, известно, что этот варварский обычай ругаться над трупами, или умерщвлять уже обезоруженных неприятелей, ожесточал наших солдат, которые в отмщение часто нещадили раненных и пленных турок, вопреки приказанию начальников.

<sup>10</sup>Пленные нижние чины (их было более ста) помещались в трех палатках, находившихся близ наших. Большая часть из них были вовсе нагие, и ночью, чтобы согреться, зарывались в кучи навоза, здесь накопившегося по причине множества лошадей.



что я думал о неуклонном повиновении рабов их, не исполняются вовсе или исполняются со всеми отступлениями, какая только можно сделать. Едва мы возвратились, как явился болгарин с двумя огромными кувшинами водки и вина, и объявил, что такую порцию мы будем получать поутру и ввечеру. Взглянув на величину сосудов, мы заключили, что турки считали нас большими пьяницами. Много раз во время нашего похода в Константинополь, мы имели случай сделать то же заключение. Употребляя вино только украдкой, и следовательно тем с большим удовольствием, турки думают, что тот, кому незапрещено его пить, должен уметь наслаждаться этим правом вполне. Изобилие в вине и водке доставило нам многих приятелей, которые вскоре сделались докучливыми. Оно привязало также к нашей палатке переводчика Мустафу, через которого мы только и могли исполнять наши желанья. Настала ночь, мы улеглись, склонив головы на кровавые одежды погибших наших соотечественников, но, несмотря на истощение сил, сон не приходил к нам.

Ужасна была ночь, ужасно пробуждение после минутного забытья, на рассвете. Пробуждение в могиле едва ли страшнее первого пробуждения в неволе.

Проснулись мы рано, но уже все припоминало, где находились мы. Часто сменялись часовые у нашей палатки<sup>11</sup>. Мы слышали: «аз-гырт, семал-дур!» (на плечо! На караул!). Скоро завизжала музыка, уже знакомая нам со вчерашняго вечера.

Явился Мустафа, начал повторять свои уверения, что нам будет очень хорошо, но что ему очень дурно, что паша ему ничего не дает. Приговаривая это, он часто наполнял водкой и осушал принесенную им разбитую чашку. Часа через три сераскир позвал к себе майора Шатова, вручил ему пять свертков, один для него, а четыре для остальных четырех пленных офицеров. Уверения Мустафы сделались сильнее, когда он увидел сыплющиеся из чистой лощеной бумаги<sup>12</sup> блестящие, едва с монетного станка вышедшие, пары. Он старался нас убедить, что этот подарок паши, состоявший в пятидесяти левах каждому, был только преддверием его щедрости, и что он, Мустафа,

---

<sup>11</sup> Освободив нас от цепей, но боясь, чтобы мы не бежали, паша приказал поставить у нашего входа одного часового. Он имел полное право убрать свои предосторожности, но благодарность заставляет меня отдать справедливость его деликатности. Он приказал нам сказать, что часового ставит не для того, чтобы караулить нас, но чтобы предохранить от неприятностей, которые могли быть нам нанесены какими-нибудь нахалами.

<sup>12</sup> Турки всегда пишут на лощеной бумаге, давая ей большею частью узкий и длинный формат.

ничего не получая ни от султана ни от папи, был бы весьма доволен и половиною одного свертка. Положив двадцать пять левов в свой кисет, в котором был плохой турецкий табак, выпив еще добрую чару водки и закусив хлебом, он отправился хлопотать об обеде для нас и для солдат, также о других данных ему нами поручениях, особенно о позволении писать в главную квартиру, обещанном накануне папешю.

Во время нашего пребывания в пумленском лагере, ставка наша была посещаемая многими турками. В иных не видно было ничего другого, кроме простого любопытства, у других заметно было даже нечто неприязненное, но большая часть их оказывала нам дружелюбное расположение. Говоря, что враг на войне делается приятелем, как скоро она каким либо образом прекращается, что мы, пленные, султанские гости и проч. Были и такие, которых привлекали неистощимые наши кувшины. Такие гости скоро делались друзьями дома, и уже, не ожидая приглашения, распоряжались полновесными сосудами. В числе посетителей были также чиновники нового войска, из которых многие надоедали нам своею хвастливостью.

Три или четыре турка принесли на больших жестяных досках (в роде подносов) обед, для солдат чорбу (похлебку из сарачинской крупы), а для нас, кроме чорбы, еще баранину, приготовленную какими-то двумя способами, и пилав, вместо масла, облитый бараньим жиром.

Паша позвал к себе майора Шатова в другой раз: он принял его уже не в лагере, а на валу, в разбитой там для него палатке, откуда виден был весь русский стан. Говорил приветливо и вторично обещал позволить нам писать в главную квартиру нашей армии. Как личными просьбами, так и домогательством через приятеля нашего, Мустафу, достигли мы наконец того, что перед вечером этого дня пришел к нам Кассар, с каким-то кроткого вида турком, в длинном кафтане<sup>13</sup>, и с серебряной чернильницей, вместо пистолетов, за поясом<sup>14</sup>. Это был Кятыб-Эффенди, или письмоводитель Гуссейна-Папи. Он дал мне бумаги и тростниковое перо. Некогда и неуместно было соблюдать формы. Мы просто донесли начальству о происшедшем с эскадром, о нашем плене, просили уведомить о нем наших

---

<sup>13</sup> Все военные турки носят род курток, только старшие чиновники имеют плащи, длинная одежда означает как бы статского чиновника.

<sup>14</sup> Не только в Турции, но и в Молдавии и Валахии, употребляют металлические чернильницы с ручками, в которые вкладываются перья, ручки эти служат для закладывания их за пояс, чтобы иметь всегда их с собою.

родных и прислать заслуженное нами за треть жалованье, прибавляя, что с нами обходятся человеколюбиво. Теперь оставалось самое трудное, объяснить Кятыб-Эффенди писанное нами, чтобы он, согласно с желанием сераскира, мог перевести его на свой язык. Мустафа был глуп и слишком плохо знал русский язык, так что не мог передать некоторые выражения. Кассар очень плохо знал по-французски, а из нас никто не был силен в итальянском языке, который он знал. Однако же, наконец, и это было сделано. Мы заметили, что фразу о содержании переводчик распространил подробностями и слышали знакомыя уже нам слова: «Чапдыр, екмек, чорба, пилав, ягны, шараб, ракы» и проч., (палатка, хлеб, суп, каша, мясо, вино). Турки любят увеличивать свои успехи и уменьшать число своих войск, бывающих в деле, но в этом случае Гуссейн-Паша сам приказал написать, что отряд, сражавшийся с нами, имел три тысячи человек.

Окончив перевод и взяв с собою донесение, Кятыб-Эффенди ушел, уверяя нас, что оно будет непременно отправлено по своему назначению. Но мы еще все сомневались, думая, что паша хотел только отделаться от наших просьб.

Настал вечер. Ужин был такой же, как и обед. Сосед наш, палач, принес бумажный фонарь, повесил его на подпорке, взглянул на ноги наши, покачал головою, будучи, вероятно, недоволен великодушием паши, и вышел.

Мустафа уверял, что Гуссейн-Паша имел намерение послать в Силистрию «много солдат» и с ними десять пушек, под командою начальника своей артиллерии, Кара-Джегенета. Выступление было назначено на другой день (22 августа), но отложено, совсем или на время, по неизвестной причине; говорят только, прибавляя Мустафа, что до вашего плена сераскир полагал блокирующий корпус гораздо слабее. Кажется, это предприятие не было в последствии исполнено. Не смею думать, чтобы перемена в намерении паши произошла от сказанного нами ему при допросе, но если б действительно наше показание о числе войск, увеличившее его почти вдвое против истины и усиленное свежим примером храбрости русских, виденным в отчаянном сопротивлении эскадрона, — если действительно причины отклонили сераскира отправить часть своих войск для нападения на наш корпус под Силистрией, что могло принудить наших отступить, то я и товарищи мои почитаем себя счастливыми, жертвою свободы доставить такую выгоду нашему корпусу.

Весь следующий день прошел в ожидании ответа из главной квартиры и к вечеру сомнения наши, касательно отсылки пашею донесения, увеличились, хотя Мустафа продолжал уверять нас в противном. Беспокойство наше еще усиливалось положением раненого товарища нашего, Риддершторма. Ему час от часу делалось хуже, воспаление около раны принимало опасный вид, и мы, видя неискусство и небрежность врачей, боялись за его жизнь.

В течение этого дня мы были свидетелями совершенно нового и отвратительного зрелища. Около девяти часов утра вдруг засуетились близъ нашей палатки, в нее вбежал, держа в руках пук бинтов, высокий и плотный грек, с огромным носом, помощник Кассара, или, просто цирюльник, перевязывавший уже несколько раз наших раненых. Он попросил водки и пока Мустафа наливал ему чашку, он с поспешными и смешными жестами говорил, что ему нужно было подкрепиться этим напитком, потому что он должен перевязывать преступников. Выпив две чашки, он ушел.

Я приподнял немного край палатки и увидел между несколькими вооруженными турками человек до сорока других, которые приближались, повесив головы, к ставке, где жил палач<sup>15</sup>, который вышел и усадил пришедших всех в ряд. Они с большой покорностью сели и, поджав ноги, ожидали своей участи. Я узнал, что это были беглецы из лагеря и им отрежут по одному уху<sup>16</sup>. С равнодушным видом приступил сосед наш к операции. Взяв левое ухо первого преступника пальцами левой своей руки, другой он отхватил его так скоро, что несчастный беглец только вздрогнул и прижался к земле. Кровь полилась, фельдшер бросился перевязывать, между тем старик, не заботясь о времени, которое нужно было эскулапу провести при каждом ухе, переходил от одного к другому, пока представления цирюльника не остановили его у десятого. Кровь лилась по рубицам жалких преступников, которые оставались неподвижными, вперив глаза в землю.

---

<sup>15</sup> Это был палач для мелких экзекуций; для казни чиновников находился при Гуссейн-Паше другой, важнейший. Впрочем, всякий кавас, если паша ему прикажет принести чью либо голову, должен это исполнить. Кавасы даже бывают довольны такими поручениями, им принадлежит все, что они находят на осужденном. Прочее же имущество достается паше или султану.

<sup>16</sup> Мне сказывали, что за второй побег провинившийся лишился правого уха, а за третий — головы, которую труп его в продолжение трех дней должен держать под мышкою, и уже по прошествии этого срока бывает зарываем в землю.

Перевязав весь десяток, грек одержал новую победу над терпением своего сотоварища. Сказав ему несколько слов, он бросился в нашу палатку, протягивая окровавленные руки к тому углу, где стояла благотворная жидкость, он делал забавные кривлянья, выражая, как тягостна его обязанность. Выпивши снова две чарки, Атанасий возвратился к своим трепещущим пациентам. Турок резал уши с невероятной скоростью. Не менее поспешным был Атанасий в накладывании корпии и стягивании головы бинтами, от которых здоровое ухо, я думаю страдало не менее больного. Но после всякого десятка бодрость его исчезала и была возобновляема прежним средством, между тем, как правоверный сотрудник его, окруженный трофеями своего ножа, стоял важно и смеялся малодушью гяура. По окончании экзекуции, виновные, оставив на лобном месте по одному уху<sup>17</sup>, удалились тем же порядком, в каком пришли.

Перед вечером, на третий день, пришел кавас и потребовал нас к Гуссейну-Паше, и Мустафа сообщил, что получен ответ на наше письмо. Мы шли таким скорым шагом, что кавас и Мустафа не поспевали за нами. Папа сидел по обыкновению в открытой своей палатке на софе, с длинною трубкою во рту, окруженный множеством любопытных. Он указал нам на лежавшие тут чемоданы и подав майору Шатову с весьма довольным лицом большой и тяжелый пакет, велел счесть, все ли в нем цело. Сев перед софою, мы рассыпали наши голландские червонцы. Гуссейн-Паша глядел с улыбкою и, казалось, любовался, видя своих пленников столь богатыми. Нам было прислано более 10,000 левов, что составляет у турок огромную сумму. Объяснив паше, что сумма была вся сполна, мы встали и, благодаря его от искреннего сердца, просили позволения известить начальство о получении принадлежащего нам и написать письма к родным. Позволение это он дал без всякого затруднения и отпуская нас, прибавил, что скоро мы будем отправлены в Константинополь и что он даст майору Шатову письмо к своему поверенному в делах, Франку, который доставит нам, по приезде, все нужное.

---

<sup>17</sup> Я не мог узнать об участи этих мусульманских ушей, но не мудрено, что они увеличивают число тех, которые должны удостоверить Порту в успехах ее оружия. Нельзя видеть без омерзения склонности турок ругаться над телами неприятелей. Недалеко от нашей палатки жил кавас-баши (начальник кавасов) и перед его ставкой на острой, длинной пике, воткнутой тупым концом в землю, была надета верхушка человеческого черепа с волосами и над нею ухо. Везде в лагере валялись отрезанные головы, даже в местах, наиболее посещаемых. Одну голову видел я в ручье, текущем среди Шумлы.

Распечатав большой конверт, мы нашли в нем между прочим другой пакет, с надписью: майору Шатову и капитану Розелион-Сошальскому. Раскрыв его мы прочли:

«П.Д.Киселев<sup>18</sup>, полагая, что майор Шатов и капитан Розелион-Сошальский могут иметь нужду в деньгах, посылаем им вместе с сим 50 голландских червонцев.» Такая заботливость начальника, с которым кроме службы ничто нас не связывало, была для нас драгоценна, и пролила, могу сказать, первую каплю отрады в наши души, сжигаемые медленным, но мучительным огнем тоски<sup>19</sup>.

Приближалась минута отъезда нашего из Шумлы. На четвертый день нашего плена собраны были повозки для солдат и приведены верховые лошади для офицеров<sup>20</sup>. Гуссейн-Паша, призвав опять нас к себе, объявил об отъезде, прибавляя, что он будет заботиться об излечении г. Риддершторма, который не мог ехать вместе с нами, велит дать покойную квартиру в городе и доставить все нужное. Наконец, снабдив нас обещанным письмом и небольшими деньгами на дорогу и, приказав, при нас, пяти своим чиновникам, назначенным сопровождать нас, обходиться как можно лучше со всеми пленными, паша отпустил нас. Мы удивлялись его человеколюбию и заботливости, видели в нем человека во многом выше турецких предрассудков, и еще более убедились в этом, узнав потом от всех пленных наших, прежде и после нас бывших в Шумле, что подобным образом поступал он и с ними. Во время плена я с удовольствием слышал отзывы многих почтенных европейцев, отдававших вообще справедливость его здравому уму и некоторой возвышенности характера. Он искренно предан системе реформ, которой следовал его государь, и более всех содействовал Махмуду II в уничтожении янычар, бывших всегда преградой к полезным нововведениям. Это обстоятельство доставило ему большой вес у султана (нельзя

<sup>18</sup> Бывший тогда начальником главного штаба 2-й армии.

<sup>19</sup> Не могу умолчать также о следующем: в донесении, посланном в главную квартиру, я просил, чтобы из следовавших мне около 70 червонцев, было доставлено в Шумлу только 10, а остальные были бы отосланы к моей жене, оставшейся в Хотине. Жена моя получила, кроме 60 червонцев из экстра-ординарной суммы армии, особенно следовавшее мне жалованье из Комиссариата. Н. Ф. Шатов, по возвращении нашем от паши, с полученными уже деньгами, сжав с чувством мою руку, сказал мне, что все, что принадлежало ему, я должен был почитать моим. Я не имел надобности воспользоваться его великодушием, но для меня случай этот незабвенен.

<sup>20</sup> С нами было отправлено разных полков и команд 109 нижних чинов, из которых 5 человек умерло в дороге, некоторые даже на повозках, потому что больных не оставляли.

решительно сказать, пользовался ли он в самом деле его расположением) и в тоже время возбудило многих завистников, которые, как говорят, препятствовали его возвышению в визирское достоинство, и лишили значения при Порте.

Мы были очень довольны, избавляясь из смраднаго лагеря, но участь оставляемого сотоварища сильно тревожила нас. Состояние здоровья его было весьма сомнительно. Лучшим средством к облегчению его положения, казалось расположить в его пользу Абраама Кассара. Получив подарки, Кассар изъявил живейшее участие к больному, объявил, что перенесет его в свою квартиру, где может дать раненому отдельную удобную комнату; мы дали ему еще денег, и он повторил обещание заботиться всеми силами о нашем товарище. Простившись с г. Риддерпгтормом, мы потянулись из Шумлы. Поднявшись на гору в селении Костеж, мы оглянулись назад. Весь русский лагерь был виден: «Как близко и как далеко!» думал я. Это было одно из тягостнейших ощущений моего плена.

У выезда из Шумлы присоединились к нам сотня конных турок. Этот отряд сопровождал нас до Осман-Базара и был дан из опасения русских партий. Однако же, мы никого не видали, — тогда уже была оставлена нашими Константинопольская дорога. Подобная встреча могла быть для нас пагубна, нет сомнения, что при нападении русских в значительном числе, пленные были бы истреблены, как то случилось впоследствии. На половине дороги к с. Костежу, один из кавасов показал нам лежавший на дороге обезглавленный труп, голова была брошена в нескольких шагах от тела. Кавас рассказал, что это был русский офицер, раненый и взятый в плен при Костеже. От слабости он не мог далее идти и был умерщвлен турками.

Уже поздно мы прибыли на ночлег в деревню Джумаю, которая совершенно была пуста. Нам показали комнату. Турки расположили среди двора огонь и провели около него всю ночь, вероятно, опасаясь нечаяннаго нападения русских. Здесь мы почувствовали в первый раз голод. Не евши почти ничего три дня, так сказать, по воле, потому что не было аппетита, мы пропустились четвертый по неволе. Перед выездом из Шумлы, мы объявили Мустафе желание наше пообедать. Он бросился хлопотать о выполнении нашего требования. Несколько раз он уходил и опять возвращался, но всегда без обеда, а только с обещанием, что тотчас принесут его. Наконец, он объявил, что на кухне паши ничего уже не осталось, и прибавлял в полголоса, что мы сами виноваты в том, что уедем голодные, — мы ничего

не дали поварам паши, приходившим поутру получить бакшиш. Пожурив Мустафу за то, что он нас не предупредил о такой цели визита поваров, который мы приписали одному любопытству, мы отправились в надежде пообедать на дороге, но обманулись. Несмотря на все свои поиски, Мустафа-кавас в пустом селении не мог ничего нам достать.

Начальник нашего конвоя, дивитар, был угрюмый человек, лет под 45, слабого здоровья и бледного лица, вероятно от употребления опиума. Он, если не смел делать нам явных неприятностей, то не упускал случая или противиться тому, чего мы желали, или делать, чего не хотели, и всегда ворчал, если мы, наскучив медленностью повозок, уезжали с одним из кавасов несколько вперед. Совершенно противоположностью ему был Мустафа-кавас, татар (курьер), заготовлявший нам квартиры, веселый, высокого роста и хорошо сложенный молодой человек, чрезвычайно смуглый лицом, показывавшим массивностью губ и яркою белизною зубов, что его мать была негритянка. Еще в Шумле Мустафа приходил к нам и отличался от прочих турок своею любезностью. В дороге он не отходил от нас, хлопотал о доставлении всех выгод, принимал жалобы, которые мы иногда приносили на худое содержание нижних чинов. И тем даже навлек на себя неудовольствие своих товарищей, а особенно пасмурного дивитара, с которым имел по временам крупные разговоры. Он весьма здраво судил о предметах, непревосходивших сферу его знаний. Скоро он принял на себя титул нашего кафадара (приятеля). Остальные наши провожатые были: Гуссейн, Гассан и Ахмед — кавасы. Последний — молодой, стройный, прекрасной наружности турок, а двое первые — простодушные старички. Ахмед, хотя и завидовал отчасти нашему расположению к Мустафе, старался также оказывать нам услуги, но с тою холодностью, которая отнимает всю цену у одолжений, а старики почти ни во что не мешались.

К кортежу нашему принадлежало еще одно лицо, которое будет играть важную роль во всех последующих происшествиях с нами. Это был переводчик или терджиман, — грек и маркитант, попавший, подобно нам, вместо русского, в турецкий лагерь со всем своим богатством, состоявшим в нескольких бочках вина, водки и рому, в нескольких головах сахару, в немногих банках варенья и ящиках лимонов. Все это было продано турками в Шумле купцам, и наш бедный терджиман с неизъяснимым прискорбием души видел, как чужой карман принимал барыш, на котором он основывал будущее свое благосостояние. Но, судьбы



неисповедимы и часто ведут нас к цели совсем не той дорогой, какую мы себе избираем. И кто знает; пустее ли теперь терджимановы карманы, нежели бы они были после успешного сбыта его продуктов в русском лагере? Николай плохо знал по-турецки и не очень сильно по-русски, оттого беседы наши с турками бывали иногда забавны. Проходили целые часы, что мы друг друга не понимали, между тем, как терджиман все говорил, и наконец, когда начинали смеяться безуспешности его в переводе, он уверял, что знает много языков, и что если бы он переводил с молдавского языка на греческий, то непременно бы его разумели.

На третий день по выезде из Шумлы мы прибыли к небольшому городку Осман-Базару. Дивитар велел солдатам нашим слезть с повозок и, построив их в колонну, сам впереди со своим причетом, со знаменем и барабанщиком сотни, окружавшей колонну, повел их торжественно в город по узким улицам между теснившимися турками, которые сбегались со всех сторон на звук бубенчиков. Мустафа, предвидя, что этот парад был бы для нас неприятен, повел нас, офицеров, к квартире другою улицею и избавил от неудовольствия служить позорищем для невежественной и раздраженной толпы. В Осман-Базаре нам отвели комнату в одном, как говорили, казенном большом доме, где жил начальник округа, молодой турок, приятного, но изнеженного вида, который замечал я почти у всех молодых турок, несколько побогаче и познатнее. Бей пришел к нам в шелковом кафтане и в желтых папушах, с богатой палью на голове. Сев на софе и выпуская медленно дым, он рассказывал нам с неловкой важностью, что накануне был им объявлен султанский фирман или манифест и взятии персами Крыма. Хотя сомнения гяуров касательно предмета, освященного фирманом, могли казаться неблагоприятными правоверному мусульманину, мы старались однако ж доказать всю географическую и политическую невозможность такого события. Выслушав доводы наши и помолчав, он сказал несколько слов, переведенных терджиманом так: «Говорите, что хотите, а будьте уверены, что Крым от вас утекал. Фирман великаго султана лгать не может». Не знаю, отчего возник этот слух, но он повторялся нам по дороге до самаго Адрианополя.

Вечером бей предложил нам ужин и мы увидали, что повара у него были исправнее, чем у Гуссейн-Паши. Нам подали на серебрянном приборе пять или шесть блюд, совершенно новых для нас, но приготовленных с отличным вкусом. Турецкий стол был

оправдан, и мы заключили, что хозяин наш был гастроном. Отправившись на другой день в путь, мы скоро достигли Большого Балкана. Миновав несколько небольших гор, мы въехали в ужасное дефиле, по обеим сторонам которого возвышались необыкновенной крутизны горы, покрытые лесом и кустами. Вход в него охранялся несколькими турками, как говорили, для удержания побегов из Шумлы. Это место, будучи приличным образом укреплено, может служить весьма сильной преградой для войск, которые бы хотели проникнуть в горы: ущелье, составляющее дефиле, имеет верст десять длины. По дну его протекает в глубокой рытвине речка, вдоль ее извивается узкая каменистая дорога. У выхода из оврага лежит деревня, окруженная каменистыми горами, покрытыми лесом, которые теснятся одна к другой и образуют амфитеатр, представляющий очаровательный вид. За селением начинается опять трудная дорога, ведущая иногда ущельями, иногда перепоясывающая чрезвычайно крутые горы, касающаяся пропастей, везде заваленная от природы камнями, везде узкая, везде опасная для больших повозок.

По смешному опасению, чтобы мы не ускакали, кавасы снабжали нас всегда самыми дурными лошадьми, и, несмотря на обещания Мустафы, на каждой станции, что завтра уже будут хорошия лошади, мы продолжали ехать на клячах. Это утомляло нас невероятно. Надобно было кричать, бить, дергать, понуждать лошадь ударами каблук за недостатком шпор, которых должно было уступить в Шумле влюбившимся в них туркам. Но хуже всего было г-ну Ш\*\*\*. Имея весьма большой рост и будучи дороден, он, на хромой, тощей, маленького роста лошаденке, с козачьей посадкой на коротких стременах и часто на вьючном седле, размахивая руками для понуждения лошади, представлял собой невыгодную фигуру. Много раз, когда лошадь спотыкалась, тяжесть седока заставляла падать ее на передние ноги, и всадник летел ей через голову. По счастью, такие случаи были безвредны. Турки при всяком падении смеялись от души и безпрестанно повторяли: «шишман дюштю» (толстяк упал). Углубляясь в горы, мы достигли места пленительной красоты. Среди обширной, открытой плоскости, лежащей наравне с многими лесистыми вершинами гор, возвышается огромный каменный утес, верху заостренный и окруженный множеством меньших камней. Кажется, будто природа создала его властелином окружных гор, над которыми он гордо устремляется к небу. Орел величественно плавает над ним в лазури и садится на неприступную вершину. А черная галка с криком вьется около ущельев, изрытых временем в недрах этого исполина.

На следующем ночлеге, в деревне Казане, нам дали чистую комнатку в доме одного болгарина.

В Казане делают в большом количестве мыло, называемое в России турецким или греческим, чем занимаются болгары. В этом городе мы пили в первый раз, по выезде из лагеря нашего под Силистриею, сносное вино, во всех прочих местах оно было кисло, слабо и невкусно.

Поутру, переменяв напих конвойных, мы оставили Казан. Дорога вела по дну одного ущелья и беспрестанно пересекала текущий в нем по песку ручей. Для пешеходов была тропинка, пробитая у оконечности одной из гор, образующих ущелье. Я из любопытства считал, сколько раз мы переедем ручей, но, после двадцати, провожатые наши велели повозкам своротить в сторону по маленькой дорожке, ведущей на гору, и мы поехали за ними.

Через несколько дней утомительного пути, мы увидели роскошную долину, на которой лежит дорога Сливно или Селимно. С одной стороны эта богатая, плодоносная равнина терялась в отдалении, а с другой стороны ограничена была необозримо, совершенно обнаженной гранитной громадой дивной красоты. Солнечные лучи, отражаясь на ея поверхности, придавали ей вид одного огромного кристала. Между роскошными садами, гладкая дорога вела в городу. Везде слышны были голоса людей, рассеянных между виноградниками для собирания плодов. Раздавался плаксивый крик ослов, шедших по дороге мелким, торопливым шагом, с большими коробами на боках, наполненными крупным виноградом.

Сады не имели почти никакой ограды, изредка виднелись только каланчи, поставленные для сторожей, а между тем целость прекрасных кистей, на самых близких к краю низеньких кустах, доказывала, что здесь право собственности в этом отношении строго уважалось. Конечно, то было следствием изобилия. В самом деле, здесь, как и в многих других местах Турции, виноград чрезвычайно дешев.

Селимно, город довольно оживленный торговлею, может иметь до 20 000 жителей. Положение его у самой подошвы кремнистого кряжа доставили ему редкую выгоду иметь во всяком доме и даже по улицам текучую воду. Каменные фонтаны — лучшее украшение турецких городов и самая полезная роскошь в жарком климате. На другой день мы оставили Селимно, сопровождаемые через город многочисленной толпой любопытных турок. Мужчины держали себя очень скромно, но дети, теснясь вокруг нас, делали разные гримасы и пилили себе рукою шею, в знак того, чего они

желали нам, бросали камешки, за что получали изрядные удары от палки Мустафы. Женщины, выглядывая из-за ворот и дверей, бывающих в некоторых домах на улицу, плевались и бранились.

В Селимно мы видели между болгарскими низенькими и круглыми шапками из черных смушек, пестрые синего с черным цвета повязки, в роде турецкой чалмы, с двумя длинными концами назад. Это наряд румелийцев. Фундуклы, первая деревня, в которой мы ночевали по выезде из города Ямболи, лежащего на юге от Селимно, населена ими. Народ этот, я говорю о поселянах, кажется беднее и слабее духом, нежели болгары. На лицах румелийцев виден явный отпечаток угнетения, рабства и малодушия. Свидетельством истории подтверждается это впечатление. Известно, что туземные племена несли римское иго, а болгары были народ новый и, до покорения турками, свободный. Да и турки завоевали землю болгар позже стран, лежащих по ту сторону Балкан. Впрочем, племена греческое и болгарское здесь смешаны и болгары рассеяны не только по всей почти Румелии и Македонии, но и по самой Фесалии.

Едва мы легли спать, как услышали нечто подобное звуку замка, бьющегося о дверь. Мы закричали: «кто там»? стук затих, мы успокоились. Мы догадывались, что было покушение на оставшуюся часть нашей свободы, что хотели запереть нас, но думали, что это отражено. Однако через четверть часа возобновился звук сильнее, тогда мы все бросаемся к двери и криком заставляем турок, поставленных стеречь нас, отпереть дверь. Посылаем терджимана к начальнику для представления ему, что мы не арестанты, а военнопленные, и что запирать нас значило бы тоже, как если бы хотели надеть на нас цепи. Мустафа был готов лететь к нам на помощь, но осыпанный упреками начальника, товарищей и других турок за такую снисходительность к неверным, он остался, грозя только, если нам не дадут удовлетворения, донести паше о том, что не поступали по его повелению. Пришел другой кавас и с недовольным видом исполнил наше требование. Караульные, разложив огонь у избы, вымещали бранью сквозь зубы за потерю для них ночи.

На следующий день мы прибыли в другую румелийскую деревню, где какой-то турок встретил нас приветствием: «Здравствуйте, ваше благородие». Пришедши в нашу квартиру, он рассказывал, что, будучи родом из татар и служивши в 32-м егерском полку, он бежал за Дунай, женился на турчанке, жил около крепости Исакичи и по приближении наших войск, вместе с другими жителями тех мест, ушел в горы, а оттуда сюда. Что

о своем житъе-бытѣ в Турции хорошаго сказать ничего не может, что всегда был подозреваем, что из наших дезертиров иные были убиваемы в лесах и других глухих местах турецкими разбойниками, или бывали сами приняты за бродяг и воров и тоже убиваемы, а другие употреблялись в работы и находились все равно, что в неволе. Он знал Юз-Баши, посетившего нас в Ямболи, и сказывал, будто он был прежде кондуктором инженерного штата в Измаиле.

Оставалось еще два перехода до Адрианополя. По недостатку верховых лошадей, трое из нас от самого Ямболи ехали в крытой повозке, а г. Вишневский во всю дорогу был везен на особой воловой подводе. Последние два дня дорога была гористая, сидя на голых досках, поджавши по-турецки ноги, в самых принужденных положениях. Мы ежеминутно толкались один о другого, съезжали то к передку, то к задку будки, смотря по тому вниз, или в гору шла дорога, и не знали, куда деваться с трубками, которые от скуки привычка сделала нам необходимостью. Наконец, в десятый день путешествия от Шумлы, открылись перед нами обширные адрианопольския равнины. Это было в начале сентября, все пространство представляло одну открытую пожелтелую плоскость, на которой поднимались кое-где невысокие холмы. Однообразный вид ее не обещал ничего такого, что могло бы пленить султана Амурада I, перенесшего сюда столицу свою из Бруссы. Не природа, а политика решила выбор завоевателя.

Повозки с солдатами отстали далеко от нас и потому надобно было остановиться: дивитару хотелось торжественно со всеми порученными ему пленниками въехать в прежнюю столицу империи. Когда солдатские повозки подъехали, все мы двинулись, и миновав обширное кладбище, въехали в город. Народ теснился в узких улицах, особливо женщины, одежда которых, если и не очень благоприятствовала красоте, то по крайней мере не придавала им вида ночных пугалищ, как одеяние прежде виденных мною женщин. Они имели светло-зеленые длинные и широкие мантии, с такими же капюшонами на спине, и белые покрывала. Как не прославлены глаза восточных красавиц, но симпатичного впечатления они не могут производить, потому что ему не помогает выражение лица, закрытого чадрой.

Долго тянулись мы городом, наконец въехали во двор, где множество турок толпилось у дверей большого дома, окна которого были открыты, и у одного из них сидел в богатой чалме папа и выпускал на двор дым из своего чубука. Ветерок уносил дым,

играя в черной окладистой бороде паши. Сначала мы смотрели на него из повозок, потом велели нам выйти и повели в дом. В огромных залах, устланных камышевыми коврами, находилось множество разного рода прислужников без башмаков, поставленных чинно в ряд у входа. Комната, в которой нас принял папа, была хорошо убрана, но ни что не давало понятия о каком-то волшебном богатстве и роскоши, которыми славится восток.

Папа, человек лет 35-ти, привлекательной наружности, предложил нам сесть на софе и велел подать трубки и кофе. Каждый из нас получил от особенного слуги чашечку кофе с сахаром, вставленную в другую чашечку, и трубку, которая ставится на лоток, чтобы не марать пола. Чубукчи (подаватель трубок) с особенной ловкостью большим и плавным размахом вкладывает чубуки в руку, поднося янтарь к самым губам. Терджиман, стоя между нами и пашею, переводил его вопросы и наши ответы. Вопросы были, как и везде прежде в подобных случаях, самые обыкновенные. Лицо паши оживлялось благосклонной улыбкой, которая, вместе с открытым выражением глаз и всего лица, придавала ему много приятности. Сделав несколько уверений насчет хорошего содержания пленных в Турции, — такова воля султана Махмуда, — и сказав нам в утешение «Иншалла, баршик олур» (даст Бог, будет мир), он отпустил нас, приказывая отвести нам хорошую квартиру, и непременно в турецком доме.

Нам хотелось отдохнуть и, пробыв целый день в Адрианополе, посмотреть что можно было. Мы обратились к приятелю нашему, Мустафе, чтобы он вступил в переговоры об этом с дивитаром. Вечером он принес благоприятный ответ и обещал на другой день сводить нас в лавки и в баню. Между тем заботился о доставлении всего нужного для стола, провел целый вечер с нами, ужинал, находя порядочными кушанья, изготовленные наподобие русских, а особенно выхвалял обычай запивать их вином. Он был прав, в Адрианополе у нас было хорошее красное вино, в роде медака, которое покупалось по 30 пар или копеек ассигнациями око (более кварталы).

По утру Мустафа, надел новую чалму и уруб<sup>21</sup>, отправился с нами в ряды.

Лавки обращены одна к другой выходами, а над остающимся между ними пространством расстилаются на деревянных перекладинах виноградные лозы, производящая прохладу для покупателей и некоторую темноту, благоприятствующую продавцам.

<sup>21</sup> Так называется по-турецки платье вообще.

Остановившись близ одной лавки, чтобы купить из уважения к турецким полам папуши и мешты, — сапоги наши наносили большой вред камышовым настилкам, — мы увидели женщину, которая, разговаривая с купцом, подняла свое белое покрывало и распустила с небрежностью темно-коричневую мантию, окутывавшую стан ее. Страстное лицо, одушевленное большими и блестящими, влажными черными глазами, обратили на нее наше внимание. Томная, но небольшая бледность говорила об огненном темпераменте, а правильные и выразительные черты давали ее физиономии редкую привлекательность. Замечая наше внимание, она по временам бросала на нас взгляды, исполненные участия, и казалось, с умыслом продолжала разговор свой. К нашей досаде неуклюжая мантия скрывала стан, может быть, соответствовавший лицу. Окончив покупку, пошли, довольные тем, что удалось нам видеть турецкую красавицу, — счастье столь редкое для мужчин, а особенно чужеземцев и пленных, но терджиман вывел нас из заблуждения, сказав, что женщина эта армянка, как доказывал цвет ее мантии и поднятое покрывало. Побывав у солдат наших, которые находились по обыкновению в большом сарае, куда греки и болгары приносили им добровольно пищу и даже одежду<sup>22</sup>, мы прибыли в баню и увидели себя в большой зале, все стены которой заняты были кругом возвышениями, разделенными на части, как и то пространство, которое находилось посередине. Посетитель берет одно из таких мест, имеющее чистую постель, с принадлежащим к ней бельем. Когда мы разделись, слугитель подал деревянные, высокие сандалии, предохраняющая ноги от горячего каменного пола, и повел в самую баню, которая также велика, как и передняя зала, и освещена сверху стеклами, вставленными в куполе. Чтобы произвести испарину, вас кладут на небольшое мраморное возвышение, неходящееся среди комнаты, имеющей умеренную теплоту, и разминают члены. После этого вас подводят к одной из мраморных умывален, приделанных к стенам, с двумя кранами для теплой и холодной воды. По окончании всего этого, цирюльник предлагает вам свои услуги. Потом, укрыв двумя или тремя полотенцами, и подняв на те же ходули, вас ведут обратно в зал,

---

<sup>22</sup> Несмотря на все просьбы, мы не могли доставить солдатам нашим никакого одяния: «все будет в Стамбуле, бакалым» (посмотрим), отвечали нам всякий раз. Многие турки прогоняли тех, которые хотели им делать подавание, желая прекратить даже самое сношение с христианами, по ненависти к нам. С трудом за деньги мы могли достигать, чтобы кто-нибудь перевязал наших раненых.

кладут на постель и вы отдыхаете, пока вздумается вам одеться. Здесь предлагаются трубки, кофе, плоды.

Тем же порядком поступлено было с солдатом, который пришел вместе с нами. Все шло хорошо, пока нужно было только повиноваться, но надобно было видеть замешательство и недоумение лихого улана, когда, положив его на одну из постелей, подали ему, как и нам, трубку и кофе. Как лежать подле офицеров и даже подле своего эскадронного командира, пользоваться равными правами и разделять их удовольствия? Это ему казалось непонятным. Напрасны были все ободрения: поднявшись на локоть, чтобы не совсем лежать, он держал, не шевеля губами, янтарный мундштук во рту и смотрел на стоявший близ него кофе. Чтобы вывести из затруднительного положения доброго служивого, должно было приказать слугам предоставить его собственному распоряжению. В минуту он был одет и готов делать «что прикажете?».

После обеда, нас посетил сын хозяина дома, Мутьш-Ага, и его приятель, они просидели у нас до вечера. Терджиман истощал свое знание в обоих языках. Легко судить, как интересны были беседы наши с этими молодыми людьми. Они спрашивали названия разных предметов на русском, говорили нам свои, хвалили храбрость турецких войск и нововводимый султаном порядок (талым), рассматривали наше платье, особенно сапоги, удивлялись всему, как дети, курили табак и пели крикливую песню — образец какофонии, не имеющий, я думаю себе равного. Тоны этой песни, почти единственной у турок, совершенное бессмыслие в звуках, которому надобно удивляться. Гости наши были однакоже не вовсе без претензий на ученость. Мутьш-Ага, отыскал в шкафу, — где находилось седло, конский прибор, щетка, скребница, несколько ок табаку и другие вещи, — небольшую, писанную на турецком языке тетрадку, читал вместе со своим товарищем, вероятно, какие-нибудь стихи, и оба восхищались. Мы не любопытствовали узнать содержания тетрадки. Такое равнодушие охладило восторги их и прекратило чтение. Вечером гости эти заменились Мустафою и Ахмедом — кавасами.

Мустафа был очень искусен в мимике, которой вообще сопровождается разговор турка. При помощи жестов, он передавал нам свои идеи часто с такою ясностью, что мы его почти совершенно понимали, узнав несколько употребительнейших слов и привыкнув к его мимике. Так рассказывал он самым живописным образом целые сражения, в которых он бывал,



подражая голосом выстрелам орудий, выражая положение войск, число их, конных и пеших, быстроту скачки и прочее, различными движениями рук и пальцев. В этот вечер посетители наши были очень разговорчивы, чему много способствовали стаканы красного вина, стоявшие перед ними. Оригинальность их суждений и рассказов забавляли нас, и мы старались оживить их, не забывая подливать вина в стаканы. Желая дать Мустафе понятие о моем звании, майор Шатов рекомендовал меня дефтердаром (секретарем), но Мустафа отвечал: «дефтердар деиль, амма меандыз» (нет, он не дефтердар, а инженер) и основывал свои догадки на внимании, с которым я рассматривал встречавшиеся предметы, даже камешки по дорогам, как он говорил. Боясь, чтобы такое мнение при подозрительности турок не послужило поводом к каким-нибудь особенным ограничениям той свободы, которой пользуются военнопленные, я старался его уверить, что я был «атлы юз-баши» (офицер конного полка), однако напрасно, он оставался при своей мысли. Но я увидел впоследствии, что мои опасения были напрасны.

Гости наши засиделись долго. Сон начинал клонить меня и я припоминал пословицу: «не вовремя гость — хуже татарина». Мустафа, качаясь брэнчал на болгарке (род балалайки) какие-то однообразные аккорды, а товарищ его, вытянув шею, подняв лицо кверху и закрыв глаза, кричал во все горло и в нос, по обыкновению турок, национальную свою песню. К счастью, благодетельная природа взяла свое: голоса их слабели, и уже за полночь, они избавили наши уши от несносного своего пения и позволили нам заснуть.

В Адрианополе, как и во всей южной Турции, строят очень высокие дома. Болгарин прибрежных дунайских мест врывается в землю, которой свежесть летом и теплота зимою предохраняет его и от зноя и от стужи. В Балканах многие дома имеют пол, углубленный несколько в землю. Приближаясь к югу, вы видите, что все приспособленно к доставлению прохлады томящимся от зноя жителям. Дома легкой постройки возвышаются, как бы желая отделиться от знойной земли. Шелест колышущихся яворов, душистых лип<sup>23</sup> и вьющегося по стенам виноградника, который бросает густую тень свою сквозь многочисленные окна, склоняет ко сну. Для доставления большей прохлады, делаются к домам пристройки, состоящие почти из одних стекол. В самые жаркие дни, жители укрываются в нижней части домов, — это

<sup>23</sup>Здесь липы имеют цветы гораздо большей величины, нежели в наших местах, и издают весьма сильный, даже слишком сильный, запах.

большие, во весь дом сени, не имеющие вовсе окон и содержимые обыкновенно в отличной чистоте.

Раздав, по желанию Мустафы, слугам дома бакшиш (составлявший до 5 российских ассигнаций, что даже казалось нам слишком много, но он уверял, что это было необходимо, потому что мы квартировали у знатнаго господина), мы отправились из Адрианополя. Молодой наш хозяин, Мутьш-Ага, поехал провожать нас верхом на резвой арабской лошади. Он носился на ней взад и вперед, фланкировал с Мустафою и Ахмедом, делал крутые повороты с большой ловкостью и уверенностью в своей езде. Наконец мы расстались.

По дороге мы встречали небольшие караваны верблюдов, навьюченных разными товарами, шедшими из Царьграда в Адрианополь.

На третий день, около полудня, мы прибыли в город Люлле-Бургас. Пока Мустафа узнавал, где нам отведена квартира, мы остановились у кофейни и выпив, чтобы согреться (нас провожала от Адрианополя очень холодная погода), по чашке полу турецкого кофе с гуцею, но за то и с сахаром, пошли осматривать одну из городских мечетей. Мустафа возвратился, и мы отправились с ним на квартиру. Он, казалось нам, был в смятении и сказал, что мы здесь только отдохнем и поедем далее, и что переход будет содержать восемь часов (40 верст), а потому мы проведем целую ночь в дороге. Надобно было догадываться, что под этим крылась какая-нибудь тайная причина. После узнали мы, что нападение нашего фрегата на Инаду навело страх на старика дивитара. Известие о скором отъезде было неприятно. Не иметь времени отдохнуть, тащиться целую ночь на ленивом и хромом бегире, — это было очень обременительно.

Убежденный нашими представлениями о неудобствах столь большого переезда в холодную ночь, особенно для солдат, не имевших порядочной одежды, Мустафа отправился переговорить с дивитаром. Часа через два, он воротился со всеми кавасами, которые хвалились, что общими силами уговорили начальника своего остаться. Это значило, что надобно было их потчевать. Полились желанные напитки из глиняных сосудов в деревянный сломанный стакан. Гости принужденно церемонились, ждали примера, который показал им Мустафа, не знавший притворства. Один хотел раки (водки), другой предпочитал шарап (вино). Нечего делать, следовало быть благодарными и угождать прихотям столь услужливых посетителей. Но между тем, как довольные гостеприимством нашим кавасы пировали, а мы,

обманутые обещанием провести тут ночь, любовались их веселостью, коварный дивитар делал распоряжения к отъезду, испугавшись известия, что в ста верстах были русские. Как громом поражена была вся беседа, когда присланный от него турок объявил, что все готово к походу. Гости наши приняли весть эту еще с большим неудовольствием, чем мы: они имели полную необходимость в отдыхе после нашего угощенья. Но судьба была решена, и вот мы все на конях отправляемся в ночную экспедицию.

Приближаясь поутру к городу Чорлу, мы увидели вправо и влево, в отдалении нескольких часов, горы, которые прерывали однообразный вид плоскостей, сопровождавший нас от самого Адрианополя.

Чорлу лежит на довольно крутой горе и населена более турками. Поднявшись на эту гору, мимо остатков древней стены, мы проехали большую часть города между глухих стен турецких домов, не встретив почти ни души, наконец были введены через маленькую калитку, в тесный, но чистенький домик одного грека. Небольшой, красивый цветник занимал середину двора, высокий стебель тростника, похожего на сахарный, едва оставял довольно места, чтобы поворотиться несколькими челоуекам. Кругом все было застроено. Чистота комнаты вознаграждала нас за тесноту ее. Греки, вместо того, чтобы передать победителям свои нравы, покорились их грубым обычаям и сделались совершенными турками, за исключением тех свойств, которые дает народная независимость и отнимает иго. Греческие женщины прячутся от мужчин почти точно также, как и турчанки, особенно в тех местах, где эти два народа живут вместе. Образ жизни их во многом имеет сходство, везде видно, что старожилы заимствовали от пришельцев.

Нас посетил сын городского начальника, Низиф, молодой и очень красивый турок, с приятным обращением. Резкий черный цвет глаз его и бровей был в разительном и вместе гармоническом контрасте с белизной лица и ярким алым цветом губ, как будто всегда улыбающихся. Довольно грубые звуки турецкого языка смягчались в его ласковой речи, вызывавшей доверчивость. Нам жаль, казалось, что он не родился в такой стране, где врожденные качества его могли бы развиваться и усовершенствоваться.

Пространство между Адрианополем и Чорлу представляет необозримую плоскость, только изредка пересеченную с отлогими берегами речками, на которых устроены почти везде каменные мосты. Многие из них уже пришли в упадок и не могут служить

для переправ, производящихся в брод. Местами находишь, равно как и далее по пути к Константинополю, каменные мостовые, но они нигде не длиннее двух или трех верст, и так узки и неровны, что совершенно негодны для езды. Почва земли на этом пространстве имеет черный цвет агата и чрезвычайно жирна, почему можно сделать выгодное заключение о ее плодородии. Но к осени, перед началом дождей, именно в то время, когда мы проезжали эти места, они совершенно обнажены летним зноем.

На половине пути между Чорлу и Селиврией, перед нами вдали открылась темносизая поверхность мраморного моря, которая несколько раз терялась за возвышениями и опять показывалась. Вид Селиврии, лежащей на горе у самого моря, произвел в нас весьма приятное впечатление. Высокие дома с черепичными крышами, с выдававшимися из-за них остроконечными кипарисами. Множество судов с белеющими парусами, то скрывавшихся за горою, то из-за нея приходивших в гавань, где было заметно большое движение. Беспредельная плоскость моря с серебристыми волнами, и наконец едва темневшие вдали возвышенные Анатолийские берега составляли прекрасную и оживленную картину. Переехав мост, находящийся в широкой долине перед Селиврией, мы стали подниматься на гору чрезвычайно узкими, но чистыми улицами, лежавшими в тени между высоких домов и охлаждавшимися близостью моря. Квартира нам была отведена у грека. Из больших сеней, устланных гладкими плитами, мы поднялись по высокой деревянной лестнице на площадку, составляющую почти половину второго этажа, но ничем не отделяющуюся от сеней. Это столовая и зал, из нее несколько дверей ведут в комнаты, которые, выходя на нее, обыкновенно не имеют между собой сообщения. Из сеней, где помещается разная домашняя утварь, был ход в погреб, устроенный под домом, и другой ход в маленький, обнесенный каменною оградю садик, имеющий два или более насыпных ярусов. Где между аллеями роз росли душистый, покрытый алыми цветами олеандр, стройный, но мрачный кипарис, широколистная смоковница, в тени которой впились в стену корнями розмарин и миртовый куст, усеянный белыми звездочками, которого блестящая зелень ярко отделялась от тусклых, лоснящихся листьев масличных дерев. Густой плющ вился по стенам дома и расстился фестонами по каменной ограде, а толстый пенъ виноградника распускал гибкия лозы по перекладинам беседки, и молодые грозды колыхались, бросая тень на возвышенный помост. Греческий дом — жилище чистоты

и прохлады. Если здесь люди не наслаждаются жизнью, то где же человек может найти счастье? Комната с широкими диванами и белыми занавесами находилась в той части, которая в здешних домах выдается вне прочей постройки. Такая же комната была в противоположном доме, подобное расположение в узкой улице сближало эти два покоя так, что из одного в другой можно подавать руку и видеть булавку, уроненную на пол. Какое выгодное устройство для добрых соседей! Они могут, не выходя из дому, беседовать по целым дням. Зато, какое удобство и для сварливых сплетниц.

Хозяева наши были оба очень пожилые люди, они показывали нам большое участие. Старуха, узнавшая в нашем терджимане своего соотечественника, была с ним откровенна и уверяла его с горькими слезами, что султан хочет истребить всех до одного христиан, живущих в его империи. «Мне не себя жаль, говорила она, я уже отжила век, но дети, дети!»

В следующий день, мы делали привал в греческой деревне, и там, в кофейной, встретился нам отец Назифа, нашего чорлуского знакомого. Это был плотный турок, с окладистой, большой и седоватой бородой. Он очень приветливо расспрашивал о том, что мы видели хорошаго в Чорлу, был обрадован, слыша похвалы его сыну. Попросил позволения предложить нам завтрак, состоявший в соленой, мелкой рыбе, приготовленной с деревянным маслом и луком, и удивлялся, что два порядочной величины сосуда с вином и водкою, поданные при этом блюде, были едва нами початы.

В Кючюк-Чекмеджи, где мы расположились ночевать, нас предупредили, что на другой день не дадут долго спать, и сказали, чтобы всякий надел лучшее свое платье. В самом деле, мы выехали задолго до рассвета, чтобы ранее прибыть в Константинополь.

Проехав несколько верст, провожатые наши остановились, чтобы приготовить все к входу в столицу и напиток кофе в разбитой здесь палатке, под дубом неимоверной толстоты, у подножия которого вытекал быстрый, прозрачный ключ. Это прекрасное место у ворот столицы, представляющее так много для изобретательного воображения спекулятора, здесь едва нашло предприимчивого турка, который решился расположиться на нем с закопченной палаткой и десятком трубок и наргиле.

Пока мы пили кофе, подъехали повозки, и тут Мустафа принял на себя должность церемониймейстера, велел солдатам разобрать измятые и изломанные кивера, которые были везены

в особом возу с другими подобными трофеями и в том числе, как уверяли меня, с боченками соленых ушей. Мустафа построил солдат в колонну, два во фронте, поставил в голове двух солдат, у которых были гренадерские султаны, а перед ними уланскаго унтер-офицера в белом кителе. Нельзя было без сожаления и смеха видеть этот парад, который должен был служить для турецкой столицы доказательством победы сынов ее. Умышленно распущенные слухи заставляли турок Константинополя верить, что они видят в немногих пленниках, приводимых к ним, остатки разбитых армий. Поднявшись из ложбины, в которой стоит кофейня, увидели мы восхитительную картину: Константинополь, казалось, был поглощен млечным морем<sup>24</sup>, только пирамидальные кипарисы и шпицы во множестве выходили из неподвижной поверхности этого моря. Кипарисы производили самый разительный контраст, темным цветом своим, с белизною паров. Мраморное море, подобное необозримому зеркалу, в котором любитесь небо, было спокойно, только лодки местами струили светлеющуюся равнину его. Острова выходили из серого тумана и солнце начинало бросать из-за высоких гор Анатолии лучи, проникавшие между облаков, которые венчали канические вершины их. Здесь, в первый раз, я на несколько времени забыл совершенно мой плен, хотя приближался к тому месту, где мне предназначено было влечь его. Я всеми чувствами, всеми способностями существа моего наслаждался этим очаровательным видом. Млечное море редело более и более, и когда солнце, выплыв по небосклону из-за горы, как будто остановилось мгновенно на кремнистом кряже ее, чтобы поглядеть: все ли по прежнему. Столица Турции была только подернута легким туманом, который волновался и улетал постепенно от легкаго ветерка, сопровождавшаго солнечный восход. Белые стены Царьграда открылись взору, море заиграло, и длинныя полосы света легли по всему пространству его.

Огромные здания казарм, построенных в разных концах столицы для вновь учрежденнаго войска, опоясывают ее и держат, как бы, в блокаде.

Проезжая обширное кладбище, усеянное памятниками и кипарисами, мы видели в стороне одно из предместий Константинополя, Рамид-Чифлик, где в это время жил султан, чтобы находиться близ своих войск, которых он не оставляет со времени их формирования, почти никогда не ночуя в своем дворце или серале.

<sup>24</sup> Это происходило от густоты паров, и уподобление это нимало не преувеличено; с тех пор мне не случалось видеть Константинополя в таком светлом облаке.

В воротах двойной стены, необыкновенно толстой и имеющей в промежуточном пространстве ров, мы были опять остановлены, чтобы занять наше место в церимониальном ходе. По принятому у турок обыкновению, нас поставили позади солдат. Наконец, мы вошли в Царьград. Сначала было мало народу, но скоро он стал тесниться в узкой улице, едва имевшей ширину, необходимую для двух экипажей. Любопытные следовали за нами толпою, другие шли на встречу, или ожидали у своих домов и присоединялись к толпе. Дети и женщины делали разные кривлянья, плевали, бросали камни, бранили и проклинали нас. Глаза молодых турчанок сверкали ненавистью из-за покрывал, старухи поднимали к небу руки и глаза, из которых лились слезы озлобления, и молили о даровании им радости видеть пленниками всех русских. Мужчины более удерживали себя в границах и только иногда дарили нас свирепыми взглядами. Константинопольские женщины носят фередже, мантии разных светлых цветов с капюфонами. Темный цвет, а особенно коричневый, предоставлен христианским женщинам. Новость предметов занимала нас до такой степени, что мы почти не замечали ругательств или слушали их с улыбкою презрения. Бесчисленное множество лавок и кофеен было наполнено различными предметами азиатской роскоши. Важные турки, поджавши ноги и куря табак, равнодушно разговаривали с своими покупателями и, казалось, ничего не продавали, между тем оборотливые греки и армяне были в безпрестанном движении, — даже и любопытство не развлекало их на столько, чтобы забыть свою торговлю: они показывали одному товар, спорили за цену с другим, брали деньги от третьего, пробирались сквозь толпу, переходя из одной лавки в другую. Ряд домов с лавками был прерываем мечетями, тесные дворы которых были загромождены памятниками, сделанными большей частью из мрамора с резьбой и позолотой странного вида. Кареты стояли в открытых на улицу сараях некоторых зданий и служили вывесками знатности или богатства хозяев. Зелень кипарисов, посаженных перед домами и на кладбищах, и виноградных лоз, которые вились по стенам, составляя навесы у лавок и крылец домов, чрезвычайно оживляли эту пеструю картину.

Но все имеет меру, в том числе и удовольствие от новизны предметов. Мы шли очень медленно и уже в продолжение нескольких часов питали любопытство жителей Константинополя. Жар увеличивался, чувствовалась усталость, любопытство наше стало притупляться, крики неблагоклонных мусульманок

производили уже более впечатления на нас, и мы с величайшим нетерпением ожидали конца нашего церимониального шествия. Наконец, вся процессия направилась к воротам огромного дома, и мы въехали, сопровождаемые толпой, на довольно обширный двор, где объезжались несколько прекрасных турецких лошадей. Спешившись, мы построены были в ряд перед окнами дома и увидели, как и в Адрианополе, у одного из окон бороду, — но уже не черную, а седоватую, — чалму, трубку и дым. Особа, которой они принадлежали, пожелала посмотреть на офицеров поближе. Нас провели сначала через, или мимо конюшни, находившейся под домом. Этот лошадиный прием не очень нам нравился и не обещал много хорошего. Пройдя несколько зал или передних, наполненных кавасами, мы были представлены дивитаром суровому старику небольшого роста. Он смотрел пристально на нас, не говоря ни слова, пока не пришел переводчик, румяный, плотный и живой турок, который, поцеловав у старика полу, обратился к нам, спрашивая: «говорит ли кто из нас по-французски?». Получив утвердительный ответ, он сделал несколько маловажных вопросов, переводя их на турецкий язык. Коснувшись взятых с нами бумаг, он сказал майору Шатову, что по заключении мира они будут возвращены. В это время подали Кегайя-Бейо<sup>25</sup> какую-то бумагу, завязанную в шелковом платке. Он поднялся, чтобы ее принять, и даже сделал шага два вперед, приложил к ней, в знак благоговения, губы и, сев опять на свое место, развернул огромный лист, исписанный крупными литерами, и стал читать. Вероятно, это был султанский фирман. Переводчик сказал нам, чтобы мы шли за ним в его комнату. Здесь, посадив нас и приказав подать трубки, он начал хвалить турок и себя.

— Вы, господа европейцы, сказал он: — называете нас невеждами и непросвещенным народом, но видя меня и других, вы должны убедиться, что и у нас есть также люди образованные, знающие свет. Учтивость обращения нашего с пленными доказывает, что мы вовсе не невежды. Что же касается наук, то знания разного рода не так редки между нами, как думают. Вот, например, я покажу вам сочиненный мной на турецком языке курс математики и фортификации, с прибавлением правил о разбивании лагерей.

Сын его, лет шестнадцати молодой человек, кривой на один глаз, принес две печатные книжки с чертежами, весьма дурно сделанными. Видя столько талантов в говорливом нашем хозяине, я спросил

---

<sup>25</sup> Кегайя-Бей — министр внутренних дел, а дом, в котором он принял нас, была Порта.



у него, с кем имею честь говорить; — он сказал мне свое имя, которого теперь не припомню, и прибавил: «по моей должности, я великий драгоман Порты, но занимаюсь военными науками по склонности и для пользы моих соотечественников». Рассказы великого драгомана были очень незанимательны для тех, которые с нетерпением ожидали узнать свою участь. Я воспользовался первою переменою в его словах, чтобы спросить, где мы будем жить и каково будет наше содержание.

— Вы, господа, отвечал он: — отправитесь завтра или дня через два на остров Халки, отстоящий на три часа отсюда. До того вы получите квартиру в городе, о содержании не беспокойтесь. Порта доставит вам все нужное. Сверх того скажу вам (*si vous me faites votre compliment*), что датский министр, барон Гибш, получив от русского правительства поручение входить в нужды военнопленных, просил на то позволения у Порты, которая отвечала, что не желает, чтобы кто либо мешался в это: содержать пленных ее дело, и она имеет к тому средства. Однако же тайным образом министр помогает пленным, и я вас об этом предупреждаю (*a condition que vous me fassiez votre compliment*)».

Быть отправленными на остров, — это, несмотря на уверения драгомана, что мы там будем пользоваться лучшим воздухом, нежели в Стамбуле, — было похоже на заточение. Где же Галата? Где же Франки, с которыми можно было бы делить время, забывая хоть несколько свое горе? Где же надежда, которую другу нашему, Мустафе, вздумалось поселить в нас, — надежда: пользоваться, хотя ограниченной свободой и жить с людьми? Что это за остров? Может быть какая-нибудь голая скала? Эти тревожные мысли не позволяли нам слушать внимательно того, что продолжал говорить драгоман. Тут мы вспомнили письмо Гуссейна-Паши, в котором, по уверению Мустафы, писано было также о том, чтобы поместить нас в Галате. «Мы удивляемся, сказал я: — что вы говорите нам об острове, тогда как мы имеем письмо от сераскира к негоднику Виттали о приискании нам удобнейшей квартиры в Галате или Пере. Надобно полагать, что сераскир отнесся к кому-нибудь о том, чтобы нам было позволено там жить.»

— Письмо от Гуссейна-Паши? Сказал он: — в таком случае, может статься, это и сделается по вашему желанию, позвольте его видеть.

Взяв письмо, он понес его к Кегайе-Бею. Между тем пришли в комнату, где мы сидели, два ренегата, молодые люди от 16-ти до 18-ти лет, довольно интересной наружности, говорившие хорошо по-

Французски, по-немецки, по-гречески, по-русски и по-польски. Они были поляки из Кракова и уверяли, что, приехав оттуда с одним негоциантом, греком, в Константинополь, лишились его, пришли в величайшую крайность и были принуждены, чтобы не умереть с голоду, сдатьсь домогательствам турок и принять их закон. Им очень не нравился, по их словам, образ жизни нового отечества, на счет которого они отпустили несколько острот. Они сказали, что их заставляли пересматривать бумаги, взятые с нами, но что кроме писем и документов, из которых нельзя было извлечь никаких сведений, ничего не найдено. Наш разговор с ними был прерван возвращением драгомана, который держал в руке письмо уже распечатанным. Он говорил, что в нем не было ничего писано о квартире, а говорилось только о доставлении разных потребных нам предметов.

— Это письмо, прибавил он, когда я просил отдать его мне обратно: — дойдет вернее отсюда, нежели чрез другие руки. Что же касается до помещения вас в Галате, о том можно будет постараться (*si vous me faites votre compliment*). Теперь же вам надобно побывать в адмиралтействе, под ведением которого находятся все военнопленные.

— Он отдал нас на руки кавасам, отличавшимся от прежних наших провожатых украшениями своих тростей, и прощаясь, прибавил: «Я буду думать о вас, *mais n'oubliez pas, de me faire votre compliment*». Нетрудно было догадаться, какого рода учтивости домогался великий драгоман Порты. Но я удерживаюсь от всякого заключения, предосудительного для чиновника, носящего столь пышный титул.

Вышедши из дому, мы оглядывались кругом, не видя ни солдат, ни вещей, ни кавасов наших, — все скрылось. Прежние провожатые расстались с нами навсегда, а солдат мы нашли у пристани, на берегу гавани, в которой посадили нас всех на лодки и повезли вверх по заливу. Здесь опять можно было забиться на минуту, любясь великолепным видом обширного порта, над которым возвышались горы, загроможденные бесчисленными зданиями, и который был наполнен судами, стоявшими вдоль левого берега. Пестрые флаги их разнообразили картину. Лодки и легкия суда, полные людей, перекрещивались беспрестанно и оживляли вид порта. Во время нашего переезда к адмиралтейству, многие франки или встречались нам, или объезжали нас. Казалось, мы глядели на своих родных, и сердце билось какою-то ребяческою радостью при виде щеголеватых европейских костюмов, после того, как мы так долго видели одни

чалмы, пшубы и шальвары, из-под которых выходили грязные ноги, обутые в неуклюжий башмак. «Может быть, думал я, эти люди, близкие ко мне по столь многим отношениям, спешат теперь к своим знакомым, друзьям или семействам, — а, я?»... Но, тут мчался от усилий четырех дюжих гребцов раскрашенный и с позолотою каик и на бархатной подушке покоился в богатой одежде бородастый турок, не спускавший глаз с молодой женщины, сидевшей против него, с волосами, распадавшимися из-под шелкового белого покрывала по парчевому платью. Она была опоясана персидской шалью, концы которой лежали на широком шелковом исподнем платьи, волновавшемся от легкого ветра, распахнувшего алое фередже. Строгий взгляд ревнивца оковывал робкие взгляды невольницы гарема, ловившей поспешно помы развевающегося фередже, и она потупляла глаза на дно лодки, покрытое разноцветным новым ковром. Далее несся по зыби залива остроносый челн, наполненный пестрою группою людей, переезжавших с одного берега на другой. Здесь высокий черный колпак почетнаго грека виднелся возле кармазинного феса с пушистой, голубой кистью регулярного солдата. У ног его, на дне каика, между старыми гречанками в заячьих кацавейках, сидел в зеленой чалме и меховой куртке отрешившийся янычар. Гребцы, греки, в черных повязках и белых рубахах, с засученными рукавами, сильно ударяли веслами по поверхности воды. Там, большой каик, пришедший с берегов Мраморнаго моря с деревянным маслом или через босфор с углем и дровами, тихо двигался на парусах к пристани. Там торговое европейское судно, отчалив от берега и отделившись из ряда, натягивало паруса и величественно шло из залива к морю, а цепкие матросы ползали по снастям его.

Наконец мы подъехали к адмиралтейству. Верфь занята была обломками судов, между которыми строилось и починялось несколько кораблей. На рейде стоял пароход<sup>26</sup>, купленный незадолго перед тем Портою или, как иные говорят, подаренный ей каким-то богатым армянином, доставлявшим золото и серебро для монетного двора.

Терсхане-эмини (начальник адмиралтейства) ожидал нас под виноградным навесом, перед дверями своего дома. С ним сидело четыре черных евнуха султанского сераля. Разные чиновники, окружавшие его, большей частью стояли. Терсхане-эмини принял нас ласково и, приказав подать низенькие табуретки, предложил нам сесть, пока будут записываться имена пленных солдат. Он

<sup>26</sup> Это был первый пароход в Константинополе.

имел приятное лицо и казался лет тридцати пяти от роду. Евнухи были одеты в синих широких кафтанах, с широкими рукавами и с белою повязкою на голове. Двое из них имели незначительные физиономии, но в грубых получеловеческих чертах третьего выражались и безчувственность, и томление. Желтые глаза его едва двигались в маленьких, заплывших отверстиях, разделенных между собою широким плоским носом, с которым спорили толщиной огромныя земляного цвета губы и почти превышали его на обширной плоскости налитого жиром лица. По несчастью я сидел подле этого уroda и слышал противный запах, который испускали все поры его тела. Пришел переводчик, порядочно говоривший по-русски. Тюремный цвет лица его и железное кольцо на ноге свидетельствовали о его настоящем состоянии, а шапочка, в виде усеченного конуса, показывала, что он принадлежал к духовному званию. Стали записывать, вопросы были следующие: «кто ты, солдат или унтер-офицер? Как тебя зовут по имени и отчеству? Которой губернии?» и кончено. Дошла очередь до офицеров, мы настаивали, чтобы записали наши фамилии, хотя переводчик уверял, что это ненужно. Узнав, в какой губернии мы родились, турки не заботились о родах службы. Когда все были отмечены, терсхане-эмини, оставив у себя майора Шатова, приказал отвезть нас троих «на квартиру». Это последнее слово очень приятно отдалось в моих ушах. Уставши до неимоверности, я надеялся отдохнуть в чистенькой комнате какого-нибудь греческого дома, посмотреть на Константинополь, лежащий на противоположной горе, может быть, найти участие в моих хозяевах или увидеть какого-нибудь европейца и получить от него известие о военных делах или надежде на мир. Я поспешил за переводчиком и не обратил внимания на ворота, в которые он ввел нас, и где встретился нам Некрасовец, отвечавший на мой вопрос: «ты зачем здесь, земляк?» такую улыбкою, которую я мог только разгадать после. Пройдя еще другия ворота, мы входим — и что же представляется, Боже мой! Смрадный, окруженный почернелой от нечистоты стеною двор, полный разного рода людей, большей частью одетых в рубище и скованных попарно огромными цепями, производившими оглушающий гром. Середину этого двора занимало большое загрязненное здание без окон. Не было нужды спрашивать, куда нас ввели: один взгляд объяснял все. Так вот предисловие к тому острову, на котором великодушное турецкое правительство хочет дать нам дышать чистым воздухом! Хорошо, вероятно, поместят нас на острове! Так вот квартира, которую говорливый защитник

турецкой образованности обещал нам! Так вот обращение с военнопленными, которое должно доказать, что упрек, делаемый туркам в невежестве, несправедлив. Людей, взятых с оружием в руках, которых мужеству они удивляются сами, они заключают вместе с преступниками! За чем же было нас обманывать? Этот неожиданный оборот дела сильно изумлял меня. Пришедши в комнату, где были наши вещи, и едва оставалось столько места, чтобы лечь четверем, я бросился на изорванную софу, и самые неприятные ощущения овладели душой. Я думал, что остров был только вымыслом великого драгомана, что здесь, в этом скопище нечистоты и преступлений мы должны провести все время плена. И Бог знает сколько он продолжится! Вспомнил я рассказ одного турка, виденного нами в дороге и уверявшего, что султан выстроил для содержания пленных прекрасный дом, в котором они живут, как нельзя лучше. Хорош дом, заслуживший такие высокие похвалы.

Между тем, в палатку вошел переводчик Иван, который опрашивал при терсхане-эмини. Первый вопрос мой ему был: «где наши товарищи, прибывшие сюда прежде?» — «Около двух недель, как их отправили на остров Халки», отвечал он. «Где же они там живут?» — «В монастыре, и вы завтра поедете туда же, вам будет весело, теперь лето, и там живут многие семейства Франков». Это известие несколько успокоило нас. Видя, что мы все пасмурны, Иван был и сам мало говорлив, однако же рассказал свою историю. В малолетстве по обольщению обратившись в магометанство, он отрекся через несколько времени от него, поехал с греческими негоциантами в Россию, жил там многие годы и по возвращении был узан и посажен в Зендхане (тюрьму адмиралтейства), где и находился до сих пор, несмотря на обещания, что его освободят. Потом с таинственным видом объявил он, что имеет нам сказать нечто важное, но не может, потому что боится даже самих стен. После многих смешных кривляний, он начал открывать нам тайну: нам прежде него показалось, будто он говорит, что тень покойного графа Платова явилась в Константинополь, чтобы покровительствовать русским военнопленным. «Кто у вас есть», говорил он, «самый большой из донских, он или отец его, и в прошлую войну подавал помощь пленным». Что за чудеса такие, думали мы, и трудно было бы выйти из лабиринта, в которое любопытство наше было завлечено сбивчивым понятием Ивана о том, что он желал сообщить, если бы мы не догадались, что слово донской значить у него датский

и что его тайна была уже нам отчасти известна<sup>27</sup>.

Вечером послышался оглушительный звук цепей, невольники собрались со всех сторон, а килиджи-баши, тюремщик, стоял у дверей, впуская их попарно, и громко кричал: «бир, эки, иучь» (один, два три). После счета все утихло. На дворе, кроме нас четырех и турок, составлявших стражу, никого не было. Килиджи баши со своею командой сделал обход: он шел в сопровождении барабана, и останавливаясь у каждой двери тюрьмы (их было три или четыре), спрашивал: «как ваше здоровье?». Ему отвечали изнутри: «очень хоропо!» — «Я весьма рад», прибавлял он: — «обходитесь осторожнее с огнем». За этим словом все ходившие с ним турки поднимали крик во все горло и били в барабан.

После беспокойно проведенного дня оставалось воспользоваться тишиной ночи, чтобы отдохнуть. Но едва только мы закрыли глаза, как возобновился ужасный крик, с барабанным боем, и потом громкое пение стражей, умолкавшее в продолжение всей ночи тогда только, когда было прерываемо криком их, и все это происходило у наших дверей.

Поутру мы надеялись быть отправленными, но нам сказали, что поедем завтра. Мы боялись уже, чтобы это не было осмелное «завтра» вельмож, у которых бедняки добиваются милостей и мест.

Начальник тюрьмы, Ибиш-Ага, приходивший к нам уже накануне, посетил нас опять и подав украдкою г. Шатову бумажку, сказал, чтобы ее прочли, когда он выйдет. До сих пор все слышанное о помощи через посредство нашего правительства мало нас обнадеживало, но пусть представят радость нашу, когда мы прочли следующие строки:

«Датский министр, барон Гибш, будучи осчастливлен доверенностью русского Императора, который благоволил поручить ему заботу о русских военнопленных, просит господ офицеров уведомить его о числе их и именах. Он надеется лично видеться с ними на острове Халки».

Читатель представит нашу радость: бремя плена было для нас уже облегчено в половину. Продолжение этих записок покажет, что барон Гибш в полной мере оправдал сделанное ему доверие.

В этот день приходило к нам много турок, наскучивая своими пустыми разговорами. Между прочим уверяли они, что их войска одержали две победы, из которых одна состояла в истреблении гвардейского корпуса, а другая в разбитии 16-ти тысячного отряда,

---

<sup>27</sup> В войну 1806-1811 годов, русские военнопленные состояли, по поручению нашего правительства, под покровительством датского посланника барона Гибша, отца того, о котором здесь будет часто упоминаться.

из которого взято в плен две тысячи. Хотя мы и привыкли уже не верить им даже и в половину, но известия эти очень опечалили нас. Мы скоро после узнали истину и убедились, что все рассказы турок можно мирить с нею не иначе, как давая им делителем число 10 и выше.

Перед обедом, который терджиман с помощью новых своих знакомых греков постарался состряпать, посетил нас англичанин Келли, капитан парохода, проданного им Порте. Он пришел вместе со старым турком, находившимся на корабле адмирала Нельсона в день Абукирской битвы и говорившим по-английски. Келли, беседа которого была нам очень приятна, провел с нами часа три и, выходя, предложил нам некоторое денежное пособие, которого мы не могли принять, но просили заменить его доставлением нам холста для перевязок раненым, — присланный по нашему настоянию турецкий фельдшер объявлял, что не мог перевязать их по недостатку бинтов. Через час после того, как ушел капитан, мы получили довольно много ношенного тонкого белья. После того мы не видели капитана, которому хотели бы выразить нашу признательность за оказанное участие.

Между этими визитами, Иван, исправлявший должность пономаря греческой церкви, находящейся в Зендхане (где есть также и мечеть), водил нас туда и показывал икону, избавившую, по преданию, некогда двух братьев — узников, и которую русский офицер, военнопленный в одну из предшествовавших войн, украсил серебряною ризою.

Возвращаясь в церковь во время отправления вечерней службы, мы были поражены необыкновенным видом внутренности темницы. Она устроена в несколько ярусов, разделенных на бесчисленное множество перегородок, из которых в каждой горела свеча или лампада. Внизу было все в движении около маленьких жилищ невольников торгового класса, которые превратили их в лавки. Здесь можно было найти все, что касалось нужд жителей этого дома скорби.

Очень многие заключенные были постоянными жителями Зендхане, а именно, греки, посаженные при начале революции 1821 года или даже и прежде, взятые после того в разные времена в плен, и уцелевшие от турецких сабель. Хотя это есть общая и единственная темница Константинополя, но в ней находится весьма мало гражданских преступников, потому что они без продолжительных следствий и суда наказываются по репешиям кади или бывают казнены по велению султана и высших чиновников Порты. Иногда отсылают в эту тюрьму жителей Константинополя, особенно

христиан, за неважные поступки, и тогда они откупаются тысячами или сотнями левов, смотря по мере вины и своему состоянию. Здесь вы увидите, — от небольшого железного кольца на ноге до огромных цепей, простирающихся до шеи, — множество переходов, которые тоже большей частью означают количество денег, заплаченных начальнику тюрьмы за постепенное облегчение оков. Когда мы были в Зендхане, в нем содержалось, кроме греков, Некрасовцы и запорожцы, не успевшие отдаться России и захваченные Портой. Сверх того находилось до 200 упорствующих янычар, которые отказались истребить огнем или железом на руках своих знаки их прежнего сословия. Они скованы, почти все по двое, тяжелыми цепями.

На одном из фасов двора находится небольшой каменный дом, в котором жили в прошедшую войну пленные русские офицеры. Он и теперь занят теми из товарищей нашей неволи<sup>28</sup>, которые оставлены в Зендхане, Бог знает, по каким причинам, а вероятнее всего по расчету начальников, пользующихся доходами от их содержания.

Ночью послышались опять заботливые вопросы килиджи-баши, барабанный бой, крик и песни, но они уже не действовали на привычный наш слух. Мы крепко спали до самого утра. Первое слово каждого по пробуждении было: «скоро ли мы поедем?». Но судьба хотела оставить нас еще один день слушать звук цепей: из пасмурного неба лился до полудня ливнем дождь, и переезд был отложен. Никогда с таким вниманием не наблюдал я состояния атмосферы, как в этот раз, стараясь узнать, какова будет погода завтра.

Не помню, угадал ли я или нет; но, следующий день был прекрасный, и мы, проснувшись, стали поскорее одеваться, чтобы не быть самим причиною остановки отъезда. После нескольких часов, проведенных в нетерпении, мы были позваны опять к терсхане-эмини, который, приняв нас под тем же навесом виноградных лоз, и вручив каждому из офицеров некоторое число турецких монет, завязанных в белой кисее, приказал раздать по 5 левов солдатам, потом объявил нам, чтобы когда мы будем иметь вперед причину на что-нибудь жаловаться, то написали бы только ему.

Часов около десяти утра, мы плыли в большой лодке к устью залива, и опять любовались разнообразным зрелищем, исполненным жизни и движения.

---

<sup>28</sup> Сюда принадлежали немногие пленные, взятые в конце кампании 1828 года, зимой и весной 1829 года и экипаж фрегата Рафаил.



Когда судно наше наискось встречено было резвыми волнами Босфора, оно быстрее понеслось по блестящей зыби их, и, проплыв между Скутари и султанским сералем, мы очутились в Мраморном море. Дворец, построенный Магометом II-м на развалинах и из развалин чертогов греческих императоров, произвел в нас впечатление громады камней, сложенных вместе. Он достоин только служить темницей жертв, назначенных к удовлетворению прихотей оттоманских властелинов и жилищем для них самих: никакой стон несчастного притесненного не проникнет огромных стен сераля и не возмутит ленивого спокойствия сластолюбцев.

Но сад, прилегающий к дворцу и расположенный на склоне со стороны моря, показался нам очаровательным. На берегу возвышалось красивое здание. Это новое здание — настоящий дворец султана Магмуда, а огромный старый сераль занят служителями разнаго рода, там же находится монетный двор и многие другие казенные заведения.

В глубине сада между темными кипарисами сиял позолоченный купол киоска. Он то бросал яркие лучи на сумрачную зелени деревьев, то скрывался за ними в половину, то мгновенно погасал, когда облачко закрывало солнце.

Между тем жемчужная струя быстро бежала за лодкою, предметы на берегу стали сливаться, мы поворотили в другую сторону и увидели остров Принцев. Миновав ненаселенный островок Пато, на котором находится только упраздненный монастырь, мы приблизились к островам Антигоне и Халки. Мы пристально глядели на место, которое должно было принять нас. Оно казалось приятным, поверхность острова, состоящая из нескольких куполообразных гор, была покрыта зеленью. На одной из вершин, между множеством кипарисов и других дерев, проглядывал монастырь. Другое подобное же здание, назначенное для нас, лежало на небольшой плоскости, образовавшейся от соединения двух гор, и окружено было также высокими деревьями и рощею. Мы измеряли глазами пространство будущих наших прогулок, выбирали деревья, под которым найдем тень и защиту от зноя, на выказывавшей между зеленью дороге искали глазами предупредивших нас здесь товарищей. Лодка подъехала к пристани, никто не выходил нас встретить из любопытства или по тому чувству, от которого невольно бьется сердце при виде соотечественника на чужбине. Может быть, они не знают о нашем приезде, думали мы.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Остров Халки. — Монастырь. — Встреча с прежними пленниками. — Положение пленных. — Доктор Геденбург. — Ахмед-бей. — Барон Оттенфельст. — Г. Маркович. — Фельдшер Мустафа. — Услуги датского министра. — Прибытие новых пленных. — Голод и болезни. — Письмо к капудану-паше. — Прогулка в деревню. — Пожар. — Посещение Али-бея. — Саг-кол-агасы-Гассан-ага. — Ссора и примирение. — Переговоры о размене пленных. — Бал, устроенный Гассаном. — Новая ссора с ним. — Визит Гафиза-аги.

Вот мы на берегу, идем к монастырю, где будем жить, поднимаемся между виноградных и оливковых садов на крутую гору по шероховатой, каменной настилке, всходим и видим небольшую дверь, у которой стоят два часовые. Невольно останавливаемся, прежде, чем переступить порог темницы. Переступаем — они ожидали нас за дверью. Первые минуты прошли в расспросах, как они попались в плен и как живут здесь.

Мы нашли 2 офицеров, 3 юнкеров и более 200 человек нижних чинов, большей частью взятых на фуражировках, или захваченных пикетов.

Первый, попавшийся в плен офицер, был Охотского пехотного полка прапорщик Скороговоров. Объезжая на заре посты по Дунаю напротив Туртукая, он был схвачен турками, переправившимися и засевшими на берегу в высокой траве и кустах, и он и лошадь его были ранены. В Силистрии к нему присоединился Харьковского уланского полка эстандарт-юнкер Кроп, взятый таким же образом во время ночного разбеда. Когда лошадь его упала, и бывшие с ним солдаты, испуганные нечаянным выстрелом, ускакали, г. Кроп бросился к реке, чтобы схватить лодку, пока турки искали его в камыше, и уплыть от них, но приметив на ней людей, он воспользовался темнотою ночи, чтобы прокрасться несколько далее от них по берегу. Опасаясь, что его здесь откроют, он вошел в воду, турки долго напрасно искали его, наконец, несколько лодок пустились в разные стороны отыскивать его. Всякий раз, с приближением одной из них, он должен был совершенно скрываться в воду, наконец, одна лодка покачнулась, толкнулась о его плечо, он был открыт и, получив несколько ран кинжалом, почти лишенный

чувствъ, в изнеможении от потери крови и усилий борьбы, привезен был в Силистрию<sup>29</sup>.

Поручик конной артиллерии Соколовский, прибывший после них на остров Халки, окружен был во время фуражировки многочисленной толпой неприятелей, и после упорного сопротивления принужден сдаться.

Пока продолжались рассказы, новые знакомые предложили нам разделить с ними скудный свой обед, и мы узнали от них, что не получая от турок ничего, кроме бараньего сала и сарацинского пшена, они с величайшим трудом могли доставать нужное для стола, потому что им не позволено было иметь сообщения ни с греками, ни с франками. Запрещено выходить за дверь монастыря. Что сверх того, солдаты почти совершенно наги, терпят сильный недостаток в воде, а та, которую достают из двух, уже почти исчерпанных колодцев, находящихся внутри стен, желтого цвета, противного вкуса. Вдобавок ко всему этому, мы еще узнали, что прибывшим с нами солдатам (более ста человек) не доставлено никакой провизии, и они должны кормиться той, которая назначена для прежде прибывших людей, следовательно уменьшить их порции.

Нет нужды описывать, как у нас вытягивались лица, по мере разрушения декораций, разрисованных надеждой. До сих пор, если мы были несколько раз обмануты в ожиданиях, все еще оставалось нам нечто впереди. Но теперь, в постоянном месте нашего пребывания, ничего, кроме стражи, затворов, недостатков и убийственной скуки. Можно ли было ждать этого, после бесчисленных уверений, данных важными сановниками. И к чему был обман? Разве мы были бы менее в их руках, если бы они нас не обманывали? Но мы вспомнили прощальный привет терсхане-эмини, и немедленно было приготовлено к нему письмо, в котором титул *Excellence* должен был пролагать дорогу к убеждению его о необходимости улучшить положение пленных и не лишать их, без всякой пользы, без всякого основания, свободы дышать вне стен монастыря чистым воздухом. Чиновник адмиралтейства, возвращавшийся назад, взялся доставить напе письмо, но оно умерло в кармане эмини, а может быть даже не выходило из рук услужливого нашего сопутника. Просьба наша осталась без всякого удовлетворения.

---

<sup>29</sup>Этот рассказ, как припоминаю, был взят в точности со слов г. Кропа. Хотя он и кажется довольно необыкновенным, но, по впечатлению, которое оставлено во мне характером г. Кропа, почитаю его правдивым. — Ночь была, как он говорил, темная, хоть глаз выколи. 1855.

Между тем нам осталось наслаждаться из-за решетки окон пустынным, но величественным видом отдаленных гор Анатолии, за которыми возвышался снежный Олимп. Только изредка, на темноватом, туманном фоне этих гор, поднимался столбом и слался по изгибам их дым от огонька, разводимого пастухом или рыбаком тех мест, а иногда на пустынном море, которое раскидывалось перед нами, белел парус одинокого челнока. Часть острова, обращенная к этой безжизненной картине, была несколько оживлена большим заливом, на который с двух сторон надвигались к самому морю стремнинами свои холмы. С третьей стороны, от монастыря, стесненная этими возвышениями, долина была покрыта яркою зеленью травы, которая перемежалась с отливами темной зелени разных кустарников и густых сосен. Кусты и деревья разбросаны были по всей поверхности смежных возвышений, кроме одного обнаженного, каменистого холма, которого только вершина носила кудрявый древесный венчик. В долине этой все было неподвижно: полуразвалившийся каменный столб, служивший подпорой для ворот у колодца, усиливал впечатление пустынности местоположения, и едва один раз в день мелькнет, бывало, по вьющейся между кустами дорожке, водовоз с терпеливым ослом, или козы покажутся между утесами.

Внутренность монастыря была еще занята греческими семействами, которыми он прежде был наполнен, но они не смели к нам приближаться и даже прятались от нас. Казалось, весь мир будто исчез, кроме нас и нашей стражи. Напрасно темница наша представляла все удобства расположения, — ничто не занимало, ничто не радовало. Стройные кипарисы, высокие лавры, ветвистые акации южных стран и виноградные лозы, стлавшиеся по навесам двух церквей монастыря, бросали везде густую тень. Обширные галереи, обращенные внутрь здания, доставляли убежище во всякое время дня от солнечных лучей. Скоро, скоро, мог думать каждый из нас, смрадный воздух, не имеющий никакого выхода для освежения, наполнит эти галереи, нечистота загромодит тесный двор и роскошные деревья будут только питать влажность и гниение. Уже многие пленные носили на лицах своих следы неволи. Несколько комнат отведено было для больных и раненых, маленькая аптека, присланная бароном Гибшем, находилась в распоряжении г. Кропа. Он лечил болезни, как мог, по наставлениям бывшего при шведском посольстве доктора Геденборга, который нашел средство побывать уже раза

два в монастыре<sup>30</sup>. В следующее утро после нашего прибытия г. Кроп перевязал раненых, пришедших вместе с нами, и несколько раз в день стук его огромных щпор, уцелевших от привязчивости турок вымучивать все вещи, которые они видят, возвещал его посещение в больницу.

Мы с нетерпением ожидали прибытия г. Геденборга, он приехав дня через три, доставил нам денежное пособие от барона Гибша и уверял, что посланник старался всеми мерами получить, хотя непрямым путем, позволения снабжать пленных всем нужным и улучшить их положение. Но само доверие к нему русского правительства вредило его просьбам у Порты, и г. Геденбург советовал нам отнестись к австрийскому посланнику, пользовавшемуся расположением ее и желавшему быть нам полезным, сколько мог.

Мы спешили последовать этому совету. Г. Геденбург взялся передать ему наше письмо и внимательно осмотрев и перевязав больных и раненых, проведя с нами несколько часов, простился с уверениями, что барон Оттенфельс сделает все, что будет от него зависеть.

Посещение почтенного медика доставило нам отраду, заботливость его о страждущих показывала его человеколюбивую и благородную душу. По связям своим со всеми значительными людьми в Порте, он мог сообщить нам положение военных дел, о которых мы ничего не знали.

В одну из первых ночей, проведенных мною в монастыре, мы все были пробуждены сильным шумом за стенами его: бросаемся к окнам и видим, что залив был покрыт множеством огней, тихо двигавшихся, то в некотором порядке, то врозь, как попало. Смутный шум тысячи голосов, отражаясь от береговых утесов, производил, вместе с этой неподвижной иллюминацией в густом мраке ночи, необыкновенное впечатление. У нас спросонья первой мыслью было, что это экспедиция для нашего освобождения. Нужно ли прибавлять, что совершенно очнувшись, мы уже этого не думали и догадались, что то были рыбаки.

Через несколько дней приехал капудан-паша Ахмед-бей<sup>31</sup>. Он пригласил нас на террасу, которая находилась перед дверьми монастыря, и спросил, чего мы желаем, обещая сделать все возможное. Просьба о провианте прошла этот раз без всякаго затруднения. «завтра же будет доставлена провизия для прибывших

<sup>30</sup> Турки имеют большое уважение к медикам, и этим-то воспользовался г. Геденбург, чтобы иметь свободный вход в монастырь.

<sup>31</sup> Этот приезд был следствием письма нашего к г. Оттенфельсу. 1855

в последний раз солдат, сказал он. Мы пришлем фасоль, маслины, уксус и оливковое масло». По три фунта белого хлеба на каждого пленного было приносимо каждый день, по распоряжению адмиралтейства, из деревни, находящейся на острове. К доставлению хорошей воды представлялось по мнению бей непреодолимое препятствие, надобно было ходить за водою в селение, а этого, говорил он, никак нельзя позволить. Напрасно мы доказывали ему через посредство Француза, приезжавшего с ним, как противно строгое наше заключение правилам, принятым ныне в Европе, и как оно вредно будет для здоровья пленных. Лучше было их резать на месте сражения, нежели заставлять томиться в темнице, дышать заразительным воздухом и гибнуть медленной смертью. Мы старались доказать беоу, что позволение пленным, хотя с некоторым караулом, ходить в селение, приносить из него воду, покупать что нужно и иметь нужное для поддержки здоровья движение, не могло возбуждать никакого опасения. Бей ничем не мог быть убежден: его ужасала мысль о такой свободе, которая доставляла бы пленным способ узнавать, как он говорил, намерения турецкого правительства и военные происшествия. Он заключил решительно, что для прогулки офицеров назначается терраса, на которой мы с ним сидели, и никак не далее, а солдатам позволяется брать воду из двух цистерн у входа в монастырь. Разговаривая с нами, бей очень часто прибегал к советам грека Василия Чорбаджи, старшины селения Халок, наружность которого очень годилась бы лучшему атаману разбойничьей шайки. Всякий раз, поговоря с ним, добрый человек чувствовал новый страх от мысли выпустить нас из-под замка. Бей предложил нам через него получать нужное из деревни или Константинополя и не соглашался, чтобы мы имели сношения с каким бы то ни было другим греком. Видя, что этот чиновник сам не знал, зачем приехал, мы замолчали. Перед прощанием, бей приказал принести водки и подчивал нас ей с большим радушием. Зная, что у турок почитается очень невежливым отказываться в таких случаях, мы были затруднены этим угощением и с трудом могли от него отделаться уверениями, что у нас водку пьют только перед употреблением пищи, что мы уже давно пообедали и нескоро еще будем ужинать. «Это странно», сказал он, «ведь пьем же мы кофе во всякое время».

Бей объявил между прочим, что скоро придут еще пленные, что для них надобно очистить место и предложил офицерам занять парадную половину. Половина эта имела многие выгоды и прекрасный вид на ближайшие острова Анатолии и Стамбул,

но мы предпочли отделение дома, примыкающее к горе, окруженное густой рощей, которая давала возможность тайком от турецких часовых иметь сношения с жителями острова. Отказавши нам почти во всем, бей, не подозревая лукавства, почел приличным уважить нашу прихоть.

В тот же вечер приехал к нам чиновник австрийского посольства передать мне письмо от своего министра. Министр отвечал в самых благосклонных выражениях, что получив письмо наше, он на другой же день посылал к Рейс-Эффенди своего драгомана и что ему обещали немедленно назначить чиновника, который отыщет средства к улучшению нашего положения. Мы угадали причину посещения Ахмед-бея.

Прочитав письмо, я отдал его начальнику стражи, который требовал этого, отправленное на другой день к сераскир-папе, оно, несколько дней спустя, было мне возвращено. В этом промежутке времени, роща, близкая к нашей части монастыря доставила мне приятный случай познакомиться с бароном Отгенфельсом и его супругою. Тот самый молодой человек, который принес письмо, проходя по террасе перед нашими окнами, сказал мне мимоходом, что баронесса, прогуливаясь с семейством, будет отдыхать на маленькой площадке, находящейся саженях в 50 от монастыря по дороге к селению, и что туда же придет и барон. Скоро мы увидели несколько дам, приближавшихся по той же каменистой тропинке. Одна из них ехала на муле и, увидев покрытых рубищем двух наших солдат, вышедших за водою, прислала им несколько серебряных монет. Желая лично поблагодарить г. министра за принимаемое участие в военнопленных, я попросил у миллеазыма позволения выйти на террасу, стены которой, по решению Ахмед-бея, были для нас геркулесовыми колоннами. Получив позволение и в телохранители одного ун-баши (унтер-офицера), я посидел несколько минут на надгробном камне, стоящем на террасе, потом обратился к моему спутнику и стал уверять, рассыпая перед ним весьма малочисленный турецкий лексикон моей памяти, что там сидят такие прекрасные женщины, каких он еще не видывал. Сначала он показывал стоический вид, поднимая лицо и глаза кверху, прицеливал языком в знак, что его это не занимает, но я повторял похвалы до тех пор, пока мой ун-баши не расчувствовался и не сказал: «кидалым берабер» (пойдем вместе). Баронесса сидела вместе с двумя другими дамами под тенью дерева и, после первого приветствия, предложила мне также сесть. Европейская любезность этой дамы, имевшей привлекательную наружность,

казалась уже для меня чем-то новым и тем более приятным. Через пять минут пришел с девятилетним, прекрасным сыном ее муж и, узнав мое имя, спросил с понятной для меня улыбкою: получил ли я его письмо. На его вопросы о том, как обходятся с нами турки, я отвечал ему с чувством раздражения. «Мало того, говорил я, что сослали нас в этот пустынный монастырь, запретили всякое сообщение с людьми, будто величайшим преступникам, — они даже не позволяют нам прогулок. Скука, бездействие и постоянная досада на оскорбление в нас прав человеческих, решительно убивают нас». Я рассказал барону о причинах, по которым бей напел нужным, чтобы мы содержались как совершенные невольники. Он отвечал улыбаясь: «с турками все можно сделать, но тот всегда ошибется, кто захочет подействовать на их рассудок, у них эта способность спит, узнавши этот народ, вы будете уметь с ними ладить».

Можно вообразить, как рад был я тому, что снова увидел европейцев, но несносный турок, любопытство которого уже было удовлетворено, толкая меня не совсем осторожно в бок или потягивая полу сюртука, повторял: «Гайда монастырь-да» (иди в монастырь). Я не находил в себе силы послушаться его. Но министр, напрасно убеждавший моего стража иметь более терпения, советовал мне не сопротивляться его требованию, чтобы он не рассердился. Я вынужден был расстаться с бароном и его семейством. Вслед за этим прибыл опять г. Геденбург с г. Марковичем, уроженцем Константинополя, содержавшим в Порте аптеку. Он снабжал нас лекарствами и приехал по приглашению барона Гибша, чтобы под званием медика служить нашим руководителем в сношениях с турками и облегчать средства получать все нужное для военнопленных. Зная хорошо язык и обычаи турок, г. Маркович, в течение 10 месяцев находясь при нас, был нам очень полезен, и иногда отвращал и предупреждал неприятные случаи: одним словом, одной миной он умел успокаивать часто менявшихся начальников нашей стражи, когда они бывали недовольны нашей неуступчивостью смешным, или дерзким их требованиям.

Почти в тоже время двор наш увеличился присланным от капитан-паши Фельдшером (джара) Мустафою, который превосходил обоих прежних наших знакомцев этого имени наклоном к вину и потом превзошел их обоим преданностью к русским пленным. Сначала мы боялись, чтобы его прибытие на остров не было поводом к удалению г. Марковича и настоящего лекаря,



которого мы ожидали со дня на день, очень легко было бы ему это сделать и объявить себя, вопреки своему незнанию, медиком. Но нельзя найти человека сговорчивее Мустафы: видя, что он нам не нужен и не может быть полезен, он имел благоразумие ни во что не мешаться, пускал кровь, вырывал зубы (в чем он был, впрочем, очень искусен), когда ему приказывали, забавлял своими рассказами, с множеством смешных жестов, и, более всего, пил. Его любили мы все за мягкость и услужливость. А он, будучи ежедневно в упоении, какого не надеялся найти и в садах пророка, был так доволен своим положением, что горько плакал, когда, весной, приказано было ему оставить нас, дабы занять должность медика на турецком флоте.

Между тем наша колония мало помалу оправлялась. Усилия датского министра оправдать доверие русского двора превозмогали затруднения, происходившие от подозрительности турок. Он нашел средство присылать всякого рода одежду для солдат и офицеров. Мы с своей стороны обжились и сладились с миллеазымом, который все пропускал, не заботясь, откуда оно приходило, и показывая вид, будто знает, что эти щедроты лились на нас от султана. Пара сапог *a la franga*, то есть таких, как носили офицеры, сделали его снисходительнее к нашим просьбам в тех самых случаях, при которых прежде он чертил себе пальцами по шее, выражая, что ему отрубят голову, если он исполнит нашу просьбу. По временам, два или три офицера, в сопровождении турка, уже могли по дорожке к деревне уходить сажень на сто от террасы, иногда, развлекая нашего стража, заставляя его маршировать, маршируя вместе с ним и прихваливая его искусство в «талыле» (экзерциции), мы отходили столько, что с высоты видели деревню. Кто из нас за несколько месяцев перед тем подумал бы, что придет время, когда он хитростями должен будет покупать всякий шаг свой? Случалось, когда мы, чтобы сорвать новый для нас цветок или травку, ступали два шага в сторону с дорожки, боязливый и глуповатый спутник наш думал видеть в этом намерение к побегу, бросался к нам и тащил назад. Не было возможности привыкнуть к этим грубым и бессмысленным поступкам. Такая жизнь становилась несносной сама по себе. Печальное наше положение становилось еще тяжелее от ежеминутных напоминаний о неволе.

В первых числах октября месяца, г. Гибш уведомил нас о прибытии в Терсхане нескольких офицеров и солдат лейб-гвардии егерского полка. То были: штабс-капитан Игнатъев, поручики Ростовцов и Сабанин, прапорщик Мокринский,

португей-прапорщики Докторов и Рачинский<sup>32</sup>, и до 100 человек унтер-офицеров и солдат, из которых многие были принесены на носилках и от жестоких ран умерли, несмотря на всю заботливость о них гг. Геденборга, Марковича и Кропа. Мы с нетерпением ожидали приезда на остров новых товарищей заточения, желая узнать о происшествиях войны и увериться, что рассказы турок про успехи их оружия слишком преувеличены. Нигде, я думаю, знакомства не бывают так скоры и так искренни, как в положениях, подобных нашему. Встретив гостей, явившихся в разнообразных костюмах, мы тотчас же стали заботиться о доставлении им того, в чем они особенно нуждались. С ними обошлись при взятии в плен гораздо хуже, чем с нами, Сняли, либо разорвали на них платье, били прикладами и даже, во время разнесшегося в лагере у визиря слуха о приближении русских, хотели их перерезать. Сражавшись целый день и устав до изнеможения, они почти не могли уже двигаться, когда попались в руки неприятельские. Приведенные в лагерь к Омер-Паше<sup>33</sup> они были брошены в большом сарае между множеством голов своих товарищей, принесенных сюда же турками. Многие из тяжело раненых нижних чинов не дожили до следующего дня. Потом все они были отправлены к визирю и от него в Константинополь, исключая поручика Сукина, который за ранами не мог ехать и вскоре потом умер.

Вслед за ними прибыли на остров слишком 300 пленных, большею частию гусар 3-й дивизии и между ними: ротмистр барон Ферзен, корнеты Милорадович<sup>34</sup>, Букер и Кагадеев, фуражирской команды подпоручик Байцуров и оставленный нами в Шумле поручик Риддершторм<sup>35</sup>. Мы обрадовались ему, как бы

---

<sup>32</sup> Ардалион Дмитриевич Игнатъев умер недавно в чине генерал-лейтенанта и в звании начальника дивизии. Александр Иванович Ростовцев продолжает и теперь гражданскую службу, в чине тайного советника. Г. Сабанин теперь служит советником Сибирской Казенной Палаты, трое остальных умерли. 1855.

<sup>33</sup> Омер-Паша командовал авангардом великого визиря. Это не теперешний экрем-сердарь Омер-Паша, которого я видел через два года после того в Виддине, когда он только что принял мухаммеданство. Но тот Омер был также ренегат.

<sup>34</sup> Сергей Григорьевич Милорадович, живший потом в своем поместье Полтавской губернии, недавно умер там. 1858.

<sup>35</sup> Г. Риддершторм, не перестававший страдать от раны, вскоре после Шольской кампании вышел в отставку и отправился на родину, в Финляндию, где сырой климат развил болезненное его состояние, и он года через три или четыре умер, несмотря на его крепкое от природы сложение. Я слышал, что по случаю кончины его была помещена в Финляндских газетах краткая его биография, достойная его, в полном смысле слова, рыцарского характера. 1855.

воскресшему из мертвых, узнали, что Гуссейн-Паша заботился о нем, но мало и плохо занимался его лечением Абраам-Кассар, несмотря на свои обещания и полученные от нас червонцы.

Спустя месяц после этой партии, прибыли к нам из-под Варны еще до 50-ти человек нижних чинов с майором Марцинкевичем и подпоручиком Яровым. Привезенный вместе с ними в Константинополь майор Карпинский умер на другой же день в Зендхане от ран. Этим закончена была присылка пленных на остров. Все приходившие после оставляемы были в Терсхане и употребляемы, кроме офицеров, на работу при построении кораблей и добывании каменного угля близ Кючюк-Чекмедже, без всякой платы.

Таким образом, число офицеров возросло до 20, а число всех пленных до 800 человек. Офицеры отчасти выигрывали через увеличение своего общества, препровождение времени для нас сделалось несколько разнообразнее, но увеличение числа солдат было причиной многих неудобств. Турки стали отпускать менее хлеба, потом заменили его очень дурными гнилыми сухарями, да и тех давали мало. Доставка одежды и других нужных вещей со стороны барона Гибша на большое число людей сделалось затруднительно. Чем больше нужно было посылать вещей, тем скорее посылки могли быть замечаемы турецким правительством, которое не позволяло их. Наконец, стеснение в монастыре, происходившая оттого нечистота и спертый воздух, — все это подвергало нас опасности, что могут развиваться заразительные болезни. К тому присоединялось еще действие сырого осеннего времени и жестоких, холодных ветров, не раз грозивших разрушить наше полувоздушное жилище.

Наконец, непредвиденное обстоятельство довершило ослабление людей и произвело множество болезней и большую смертность между нижними чинами.

Однажды, в продолжение целых пяти дней, из адмиралтейства не было доставляемо нам новой провизии, когда прежняя уже была съедена. Немедленно было сообщено о нашем положении барону Гибшу, но по недостатку съестных запасов в Константинополе и по строгому запрещению от правительства частной продажи хлеба, он не мог в короткое время найти способа отвратить наш недостаток в продовольствии. Между тем розданы были все одесские галеты<sup>36</sup>, которые присланы были в запас еще с лета. Закуплен был, не взирая на высокую цену, в деревне на

<sup>36</sup>Плоские, белые, отлично испеченные сухари, которыми запасаются обыкновенно суда, выходя из Одессы в Константинополь.

острове весь хлеб, в котором она и сама уже нуждалась. Но все эти средства не могли быть достаточными, пленные оставались три дня без всякой пищи, пока по настоянию датского министра высланы были турками сухари, на этот раз столь дурные, что надобно было приготовиться, по нашему, трехдневной строгой диетой, чтобы решиться их есть. Они были совершенно источены червями и наполнены множеством зародышей каких-то насекомых, так что, от размоченного в чашке сухаря, вся поверхность воды в ней покрывалась пылью, состоявшей из яичек.

Во время этого голода, солдаты, ходившие ломать кустарник для топлива, собирали желуди и сосновые шишки, варили и ели их. Истощение сил и отчаяние доходило до страшной степени и скоро открылись болезни, которые усилились до того, что несмотря на безотлучные заботы доктора Треффера<sup>37</sup>, аптекаря Марковича и ревностного их помощника г. Кропа, несмотря на устройство лазарета, несмотря на все трудности доставления страдальцам теплой одежды, улучшение пищи и употребление самых действительных лекарств, число больных в течение двух месяцев было постоянно от 100 до 150, а число умиравших доходило до 9 в сутки. Были примеры, что люди, слабого сложения и уже полубольные, которых желудок имел только достаточную теплоту для развития зародышей, проглоченных с сухарями, извергали род кровяных червей, и непосредственно затем умирали. Положение пленников, строго содержимых в омерзевшей им темнице, становилось день ото дня хуже. Начала появляться заразительная болезнь, умерщвлявшая постигнутых ею в 24 часа и оказывавшаяся чернотой носа, которая по смерти обнимала всю голову<sup>38</sup>. Ежедневно увеличивавшийся в Константинополе недостаток съестных запасов и слухи о разных отчаянных происшествиях и отчаянных мерах, принимаемых правительством к предупреждению волнений. Явное раздражение его против всего русского, молва об отправлении всех пленных в Азию, где положение наше должно было сделаться еще хуже, — все это рождало тысячу опасений. Ежедневно сообщали мы барону Гибшу о всем переносимом нами и ежедневно получали от него утешения, или советы, или увещания с твердостью

---

<sup>37</sup> Болезнь г. Геденборга лишила нас посещения этого искусного медика. Г. Треффер, австрийский подданный, был прислан бароном Гибшем для постоянного пользования военнопленных. Он был очень любим нами.

<sup>38</sup> Случалось, припоминая, что человек еще ходил, а черное пятно на кончике носа обнаруживало уже, что он был обречен на смерть. Треффер называл эту болезнь злокачественным тифом.

противоборствовать судьбе, иногда даже темные надежды. Всякое слово было для нас драгоценно, и память его останется драгоценной для каждого из нас. «Господа», писал он между прочим по случаю известия об отправлении нас в Азию, «мужайтесь, я же с моей стороны, гордясь доверенностью Государя Императора, которому угодно было избрать меня посредником для излияния на вас Его щедрот, не оставлю вас и ваших подчиненных до самой крайности».

Сравнивая столь неограниченную заботливость Государя, благотворное действие которой мы ощущали, не взирая на отдаление, с тем небрежением, действия которого мы также испытывали почти в самой столице другого Государя, слыша притом, что оно не согласно было с образом его мыслей, и потеряв терпение видеть себя, а особенно солдат своих, в столь жалком положении, мы решились было искать средства довести письменно до сведения султана о претерпеваемом нами, но барон Гибш, извещенный о нашем намерении, отвечал, что он не знает, какой способ можем мы найти к тому, чтобы прошение наше дошло к султану, а что полезнее будет объяснить все капудану-паше, от которого мы зависели, и что об успехе наших представлений он будет сам заботиться и постарается предупредить этого сановника в нашу пользу.

Мысль эта нас обрадовала. По небольшом разногласии, на каком языке писать, русском или французском. И по решению министра в пользу последнего (потому что, говорил он, иначе, или нас не поймут, или не так перетолкуют) написано было и отправлено с добрым Мустафою, от имени всех офицеров, к капудану-паше письмо, в котором изображены были страшные недостатки и неудобства, нами переносимые. Приложив для образца несколько сухарей, мы просили капудана-пашу, именем человечества и прав народных, обратить свое внимание на плачевное положение пленных солдат, прибавляя, что, хотя офицеры имеют все причины жаловаться и на собственное свое положение, но озабоченные единственно участью своих подчиненных, они себя забывают. Желая сохранить достоинство имени русского даже и тогда, когда крайность заставляет прибегнуть к просьбе, мы строго взвешивали выражения письма и в нем соблюдено было обоюдное приличие.

В нашем однообразном быту смена караула служила всякий раз для нас эпохою и производила всегда неприятное впечатление, резче припоминая нам неволю, с которой сживаются, как и со всеми прочими несчастьями жизни. Сверх того известно, что

сначала всякое лыко в строку, а потом при каждой перемене начальника и его команды строгость присмотра увеличивалась. Первые два или три дня, часовые обыкновенно стояли не двигаясь у дверей и никто, ни за какой надобностью не был выпускаем из монастыря без одного или двух турецких солдат, с примкнутыми птыками. Потом часовые садились, разговаривали и шутили с нашими солдатами, а иногда отходили от своего места и под разными предлогами позволяли по временам выходить пленным. Мне раз случалось слышать от самих турок, что у них приказ исполняется строго только три дня, а там позволяют отступления. Благодаря этому правилу, мы пользовались некоторыми льготами. С каждой переменой надобно было приспособляться к новым характерам и мы пристально наблюдали физиономии начальников стражи, делая свои заключения и не редко ошибались.

Надобно прибавить, что с умножением числа пленных и караул увеличивался. Он, однако же, никогда не превосходил одной роты или сотни. По прибытии моем с товарищами, нас почтили возвышением чина в надзирателе нашем, и прежний чауш сменил был миллеазымом<sup>39</sup>, который на этот раз назывался Ахмедом и был человек, соединявший с угрюмой наружностью доброту и честность. Подружась с нами и взяв слово, что никто не будет ходить далее ближайшей террасы, он запретил часовым останавливать офицеров в дверях монастыря и иногда позволял делать с провожатым шагов двести по дороге в деревню. Отсюда мы могли видеть между двух гор небольшую часть величественного Анатолийского берега и после всякой прогулки получали более желанья побывать в деревне, лежавшей по ту сторону гор, чтобы полюбоваться картинами Азии, посмотреть на деревню и ее жителей. В один прекрасный осенний вечер Ахмед не устоял против наших убеждений. «Я спиною буду отвечать за это, но для таких приятелей можно потерпеть», сказал он и повел нас всей толпой. Некоторые хотели поделкатиться, услышав выражение Ахмеда, но, но... все пошли!... Мы похожи были на детей, не только потому, что гурьба наша имела вид прогулки пансионеров со своим гувернером, но и потому, что какая-то ребяческая радость выражалась на всех лицах.

Не входя в деревню, мы сели у кофейни на террасе, покрытой свежеею зеленью и осененной яворами, листья которых начинали

---

<sup>39</sup> Чаушей в сотне четыре, они имеют на груди две серебряные звездочки с полудунами, миллеазымов в сотне два, знак их состоит в двух золотых звездочках.

желтеть, но еще не падали. Это было в конце ноября. Множество греков, столь же любопытствовавших видеть нас, сколько мы их, расхаживали поодаль, не смея заговорить с нами. Гречанки, по большей части очень хорошо одетые в европейское платье, смотрели на нас из окон. В числе их, мы нашли тогда много красавиц, которых напрасно искали после, когда могли беспрепятственно видеть их и даже говорить с ними. Это был морально-оптический обман.

Все наше общество было в движении и занятии, тот восхищался угрюмой величавостью гор, осенявших некогда Алкедон, другой всматривался в полные огня глаза молодой гречанки, иной наблюдал костюмы, иной лакомился в кофейне. Все жило, боясь упустить драгоценную минуту пробуждения после долгого сна скуки и уныния. Между тем Ахмед для контраста сидел равнодушно на табурете с трубкой и кофе. Напрасно старались мы угостить его вином, — он приподнимал голову и глаза, прищелкивая тихо языком в знак отказа и иногда проговаривал: «истемем» (не хочу, не пью). Подчиненные его были стговорчивее и, скрываясь за яворами, осушали сосуды, отвергнутые их начальником, который не обращал внимания ни на что. Приближались сумерки, миллеазым собрал своих затворников и отправился с ними в монастырь. Шедшие за два часа до того с резовстиею детей, мы возвращались людьми, погруженными в размышления. Мы получили урок, чувство неволи и разлуки с родиною пробудилось сильнее, чем когда-нибудь. Минутное рассеяние, или даже удовольствие видеть себе подобных, пользующихся правами общества, имело на нас действие ветерка, который, сдувая пепел с тлеющего угля, заставляет его гореть жарче. Я готов был завидовать беднейшему греку, делящему в полу развалившейся хижине с семейством своим скудный кусок хлеба, заработанный тяжелыми трудами, или питающемуся одними раковинами.

Мы шли тихо, я оглянулся: багряный полукруг луны остановился на вершине одной из высочайших гор азиатского берега и бросал огненный столб на обширную равнину моря. Противоположная сторона дремала в темноте, деревня, горы и острова виднелись в полусвете. Но душа онемела к удовольствию, я отворотился и пошел за моими товарищами. Напрасно Стамбул, показавшийся на переломе дорожки с тысячами огней, горевших амфитеатром, и белевшими стенами, выходившими из моря, манил глаза, — они были потушены в землю.

Наконец мы добрали до монастыря; две половинки железной двери со стуком сомкнулись; засов загремел, ключ, несколько раз щелкая, поворачивался в замке. Мы уныло прошли мимо церкви по мраморным надгробным камням, и мертвое молчание наших комнат не было возмущено нашим приходом.

Скоро, к великому сожалению нашему, мы расстались со своим приятелем, на место его прислан был Али-юз-баши, командир сотни, имевший под своим начальством двух миллеазымов, из которых один назывался также Ахмедом, но несмотря на это сходство имени, ни в нем, ни в его товарищах мы не нашли снисходительности, которою пользовались от их предшественника. И при них, мы ходили гулять, но только тогда, когда дарили их чем-нибудь и для того, чтобы поить их. Дурное обращение новой стражи с нашими солдатами вооружало нас еще более против нее, было причиной частых размолвок, и наконец вынудило нас жаловаться капудан-паше.

Во время двух месячного пребывания у нас этого караула случился в монастыре ночью пожар: все взволновалось, засуетилось, одни бросились тушить огонь, другие выбежали на двор, наполнившийся мгновенно людьми. Больные, угрожаемые близкой гибелью, через силу ползли или кое-как тащились, с помощью других, по лестницам. Али был окружен толпою умолявших его отпереть дверь, чтобы дать средство выдти заблаговременно и спасти жизнь. Офицеры предлагали ему, если он боялся побега, окружить пленных цепью из своих солдат; но он, чтобы прекратить все просьбы, закричал: «сгорю сам, а никого не выпущу», и подошедши к пустому колодезю, бросил в него ключ, обрекая таким образом всех на ужаснейшую смерть, потому что высокая каменная стена монастыря не имела других выходов, и даже окна второго и третьего этажей забиты были крепкими железными репетками. Отчаяние и ярость распространились между пленными, и если бы пожар не был потушен, Али был бы растерзан. Читатель догадается, что турок не имел охоты погибнуть столь героическим образом, лишь бы не дать возможности уйти хоть одному пленному и что, бросив вместо ключа какую-то другую железную вещь, он оставил себе способ, в крайности, спастись со своими единоверцами. Но это не могло представиться испуганному воображению. Впрочем, большая часть пленных во всяком случае неминуемо сделались бы жертвой пламени. Вот образец точной исполнительности и благоразумия.

Я полагаю, что в этом климате самый дурной месяц года — ноябрь: беспрестанные дожди с холодными ветрами делают время



это несносным. По целым неделям (что случается и в другие месяцы осенью, зимой и весной), сообщение острова с Константинополем прекращается совершенно.

Эта трудность сообщений делала нашу однообразную жизнь еще скучнее: от приезжавших из Константинополя, мы, через терджимана, узнавали новости, хотя по большей части ложные, получали письма от датского посланника, оживлявшие нас. Когда прекращались сообщения, не было нам и этого утешения. Рев моря, разбивающегося о каменные скалы острова, приносимый с близких берегов. Гул сосен и свист ветра, наталкивающегося на шероховатую поверхность острова и колеблющего здание монастыря. Стук дождя по черепичной кровле, — все это еще более увеличивало унылость грустных вечеров, хотя иногда возбуждало мрачные, приятно потрясавшие душу чувства, подобные тем, которые рождаются при чтении Оссиана или Байрона.

Когда чтение наскучало мне, я ходил взад и вперед по длинному коридору, обращенному одной стороной к морю и освещаемому отражением огней со двора. Ветер дул в разбитые окошки, и ставни хлопали, ударяясь об их железные решетки.

Прелесть юношеских дней, мечты приходили опять. Но мечты эти не были уже детьми той резвой, игривой фантазии, которая украшала роскошными картинками необозримый, ясный горизонт беззаботной будущности молодого человека, имевшего еще право и смелость всего надеяться; теперь опыт суживал пространство и потемнял краски.

Наставал час ужина, все офицеры собирались в столовую, которая по здешнему составляет одно целое с сенями и бывает, по причине разных выемок и по капризу строителя, очень неправильного и странного вида. Наша имела в стенах своих десять изломов, входящими и исходящими углами. Но, дело не в том. За столом разговор оживлялся: каждый рассказывал о прошлом, и все это оканчивалось обыкновенно обращением к настоящей нашей участи. Тут придумывались все случаи возможного освобождения и на поверку выходило только два: мир или размен, которые оба, к несчастью, тогда казались не близкими.

По временам, особенно когда терджиман приносил из деревни хорошую весточку, по большей части выдуманную греками, нашим обществом овладевала радость, и слышались иногда даже песни. Но за этот мимолетный восторг всегда платили мы потом еще большим унынием.

Спустя более недели после отправления письма к капудану-паше, нас предупредили о прибытии на остров Али-бея, губернатора Галаты и начальника константинопольской таможни, заменившего в этой должности нынешнего капудан-пашу. Велено было приготовиться к его принятию. Г. Маркович, сняв свой особенного покроя полукафтан, в котором он составлял в аптеке лекарства, надел новый сюртук и приготовлен был нами к ответам на все вопросы, какие бей мог делать касательно нашего положения. Скоро пришел в сопровождении нескольких турок высокий, с седой бородою человек, обошел все комнаты, осмотрел помещение лазарета и посетил наше отделение. Он очень немного спрашивал, но г. Маркович должен был много ему переводить, мы повторяли гораздо пространнее все то, о чем было писано к его начальнику. Али отвечал только головой и глазами, не сказав ничего положительного, но казалось имел намерение перевезть часть пленных или лазарет в монастырь св. Георгия, находящийся также на острове Халки. По крайней мере, мы узнали после, что монастырь этот велено было очистить. Дело осталось, однако же, без исполнения, быть может потому, что вскоре, получив некоторую надежду на освобождение, мы не настаивали сильно. Мы проводили молчаливого старика до дверей монастыря и остались в прежнем неведении на счет нашего положения. Уходя, бей сказал, что к нам пришлют чиновника, который будет уметь обходиться с нами. Обещание это показалось нам очень двусмысленно.

Обещанный чиновник, наконец, прибыл. Встретив у пристани нашего терджимана и сердясь на то, что часть привезенного им с собою угля для мангалов (жаровен, которыми нагреваются покои вместо печей) была уронена при переноске в море, он избил без всякой причины грека жестоким образом. Таково было первое его должностное действие. Мастерски обходится, думали мы, слушая рассказ и вопли терджимана, двигавшего плечами, чтобы несколько успокоить неприятное ощущение, оставленное палкою обходительного турка. Весь в грязи, в которую падал, спасаясь от преследования этой палки, Николай отдавал обратно данное мною ему для отправления к министру письмо, едва не попавшее в руки варвара. Оно было в таком же виде, как и податель, представлявший печальное и вместе смешное зрелище. Но нам было не до смеху.

Герой должен был скоро прийти в монастырь, мы невольно бросились к окнам, выходящим на дорогу, чтобы увидеть начальника, отрекомендовавшагося таким образом. Наконец он

показался, в красном одеянии и сопровождаемый почетным караулом из десятка солдат нашей стражи, в разноцветных мундирах, у кого какой был. Войдя таким торжественным образом в монастырь, кол-агасы, новый наш начальник, тотчас выгнал из занимаемой им у самых дверей комнаты Мехмед-чауша, который раздавал сухари и присматривал за нашими солдатами, щипавшими паклю для кораблей. «Я здесь хочу быть», кричал он, «чтобы видеть все самому; ступай вон! Я здесь начальник и всем распоряжаюсь». Бедный Мехмед, который ласкался к нам, прибежал в наши комнаты жаловаться на бесчинство кол-агасы, не для того, чтобы искать справедливости, а только, чтобы пожаловаться, а может быть, эта сцена приготовлена была по согласию между ним и кол-агасы, для эффекта. Стража была сменена другой сотнею под командою юз-баши, наружность которого обещала также мало хорошего, как и поступки главного начальника. На этот раз никто не обманулся в своих физиономических наблюдениях: лукавство и низость выражались в лице нового юз-баши, наклонном несколько к одной стороне и вниз, и в глазах, избегавшим встречи с чужим взглядом. Необыкновенная строгость была первой мерой кол-агасы, все солдаты наши, выходявшие за дровами или за водой, были окружаемы стражей с примкнутыми штыками. Это было для нас очень неутешительно и мы уже начинали жалеть об Али-юз-баши, «но, думали, посмотрим, что будет через три дня». Между тем никто из офицеров не выходил за дверь монастыря и даже не показывался на дворе, и никто не шел искать знакомства и милостей новых начальников, чего они, без сомнения, ожидали. Послан был к ним г. Маркович, чтобы спросить объяснения о побоях безвинному Николаю, но воротился, уверяя, что кол-агасы зверь, а не человек, что он дерзко выражался относительно своей власти над пленными, сказал и ему грубость, но он г. Маркович, отплатил ему тем же.

На другой день, несмотря на проливной дождь и весьма плохую одежду многих пленных, недавно прибывших, кол-агасы приказал собрать всех солдат и вывести их из монастыря, чтобы сделать всем счет. Стоя сам под навесом, он пропускал мимо себя во внутрь монастыря по два человека и повторял эту историю несколько раз, потому что каждый раз сбивался в счете. Наконец приказал он вызвать и офицеров, несмотря на наши представления, что это не прилично, что мы просим его в наше отделение, где есть довольно для того места. «Я начальник», отвечал он, «и поступлю так, как мне угодно». Надобно было повиноваться. Велев нам

стать под навесом всем в ряд, кол-агасы важно подошел и начал считать, спрашивая чины и сравнивая их с турецкими. Он жаловал нас чаушами, миллеазымами, юз-башиами и соглашался принять некоторых в звание сол-кол-агасы, говоря, что он был саг-кол-агасы и, следовательно, все-таки выше всех. Он прикладывал к плечу каждого свой хлыстик. Один из офицеров, не выдержав такой невежливости, оттолкнул хлыстик рукою от своего плеча, это очень раздражило кол-агасы, но ему сказали, что если воля его государя была, чтобы с нами обращались столь неприличным нашему званию образом, то он вправе приказать отрубить нам головы, а мы не в силах сносить подобного обхождения. Это его смирило, но не смягчило. Заметив, что у одного из офицеров были обриты на голове волосы, кол-агасы снял с него шапку, долго разсматривал голову и утверждал, что он из Молдавии, следовательно турецкий подданный и должен отправиться в Терсхане. Но это была только угроза оскорбленной гордости. Такая сцена поутру испортила наш аппетит. Весь обед прошел в обдумывании мер к предупреждению дальнейших неприятностей от столь грубого человека. «Неужели, говорили мы, он с умыслом выбран и послан к нам, чтобы наказать смелость, с которой мы сделали представление о бесполезно терпимых нами притеснениях?» Это приводило нас в недоумение. Несколько отрицательных благословений послано было к капудан-паше и всем властям Порты, которые, казалось нам, ругались над пленниками. Решено было уведомить обо всем датского посланника, и, по возможности, держаться в твердом оборонительном положении против нового врага. Благословенный четвертый день льстил нам также некоторой надеждой.

Вечером, когда мы случайно почти все собрались в одной комнате, нам сказали, что идут турки. Вознамерившись *faire bonne mine au mauvais jeu*, мы приняли очень холодно саг-кол-агасы-Гасана<sup>40</sup>, который шел с многочисленной свитой и с двумя бумажными фонарями, куря трубку с длинным чубуком. Он был в полной форме своего звания, на красной его куртке сияли две золотыя звездочки с алмазом в середине, обогнутые двумя также золотыми полумесяцами. Темно-зеленый или черный плащ с серебряными запонками лежал на плечах, сабля висела на красном шелковом шнурке, а синяя кисть была раскинута по новому фесу. Каждый из нас продолжал свое прежнее занятие, не обращая большого внимания на пришедших. Кол-агасы потребовал

<sup>40</sup>Так выговаривались имя и титул этого человека, или еще полнее саг-кол-агасы-Гассан-ага, командир правого батальона господин Гассан.

стул, посидел не говоря ни слова и вышел, бросив суровый взгляд на Мустафу, сидевшего между нами, по своему обыкновению, в счастливом упоении.

После этого надобно было ожидать новых притязаний со стороны Гассана. Действительно: он потребовал к себе терджимана, турки бегали по всем комнатам, оставляя двери настежь, осматривая всех и крича: «где терджиман?» или взяв за руку кого-нибудь из нас, тащили, чтобы идти искать его вместе. Боясь новых побоев Николаю, уговорили мы г. Марковича идти вместе с ним и предстательствовать за него.

Но сверх ожидания, саг-кол-агасы вступил сам в переговоры. «Я тебя побил вчера», обратился он к Николаю, «это было сделано горяча, мы помирился». — «Я насилу хожу», отвечал ему тот. «Ну, чтож делать, заживет! Я приказывал, чтобы прислали из монастыря пленных солдат переносить мое уголье, а ты этого не исполнил». — «Мне никто об этом ни слова не говорил». — «у, так уж случилось, в другой раз будь осторожнее. Да я заметил, что офицеры на меня надулись и не хотели принять меня, когда я к ним зашел. Ведь я здесь начальник». — «Они вам повинуются и не делают ничего противного, но они сухо с вами обошлись, конечно, за то, что вы только показались, сейчас же побили меня без дела, накричали, водите их солдат за конвоем, как преступников, и с ними обращаетесь очень грубо. Я слышал от них, что если вам дана полная над ними власть, то лучше вы отрубите им головы, а пока живы, они не могут сносить того, к чему не привыкли». — «Да это они и мне говорили, и видно, им сильно не понравилось, что я их вызвал на двор для счета, а особенно, что дотрагивался хлыстиком». Здесь Маркович, прервав речь терджимана, высоким слогом и в мягких выражениях, приправляемых еще всепобеждающею улыбкою, распространился о европейских обычаях, о неприкосновенности нашего звания, прибавляя, что между равными такого рода оскорбления отомщаются кровью, несмотря на строгия наказания за дуэли. Маркович прибавил, что офицеры были очень довольны, узнав, что к ним приплетется начальник такого чина, как кол-агасы и очень жалеют, что с ним не сошлись. Гассан подал Марковичу свою трубку, после этой ловкой его выходки, и сказал: «Кто же их знал? У нас это ничего не значит; а мне на первый раз надобно показаться строгим начальником. Мы поладим, я буду с ними хорошо обходиться, буду выпускать их ходить до кофейни, на что получил право (он не хотел сказать приказание), только бы они

меня уважали. Завтра я у них побываю и посмотрю, как они меня примут; тогда мы поговорим по приятельски».

Весь разговор был нам пересказан. Видя наклонность саг-кол-агасы Гассана к миру, мы также не хотели быть неучтивыми. Перед вечером был отправлен к нему терджиман с приглашением прийти пить чай. Он явился с меньшею пышностью, нежели прежде, только с одним фонарем и в сопровождении юз-баши и еще одного или двух Турок. Он с важностию сидел *a la franga*<sup>41</sup> на стуле, пил, прихваливая, чай с молоком и хлебом, удивлялся всякой безделице, которая ему бросалась в глаза, и не упускал случая величаться.

Товарищ его сидел молча, потупив глаза, и посматривал кругом из подлобья, замечая вещь, которая могла бы быть ценою снисходительности, которую он оказывал нам вместе с кол-агасы.

На следующий день солдаты выходили из монастыря без караула, только счетом, а нам предложено было прогуливаться до деревни и даже в деревне. Но это удовольствие иногда соединялось с неприятностями. Гассан, добрый, но грубый и простой человек, часто был возстановляем против нас лукавым юз-башою, который ссорил его с нами, чтобы более обращались к нему и дарили его. «Тебя вовсе не уважают», говорил он кол-агасы, «ты раз позволил им выходить, а теперь они у тебя никогда уж не спрашивают позволения. Что ж ты им за начальник?» Этих слов было уже довольно, чтобы раздражить тщеславие кол-агасы, особенно если случалось кому-нибудь из нас, не заметив нашего начальника, не поклониться ему и не сказать: «сабан гаир олсун», либо «акшам гаир олсун» (доброе утра, доброе вечера). «Если тебе совестно», продолжал советник, «наложить новое запрещение на них и их солдат, потому что ты часто называешь себя их приятелем, то скажи, что получено приказание, и они опять должны будут за тобой ухаживать». Гассан соглашался, но никогда не мог выдержать характера, видя, что мы предпочитаем добровольно запереться в стенах монастыря, нежели упрашивать его. Он чванился несколько дней, и опять приходил пить чай.

Греки деревни Халки, старавшиеся сблизиться с нами во время первых наших посещений, стали скучать частыми прогулками нашими близ их жилища. Причины недоброжелательства к нам наших одноверцев были различны: одни находили свою выгоду в том, чтобы мы покупали все за глаза через переводчика Николая; у других были смазливые жены и дочери, к которым

<sup>41</sup>То есть опустив ноги на пол.

приглядывалась молодежь, которые и сами иногда пристально смотрели на офицеров, и, если верить их мужьям и отцам, мучили их неумеренными требованиями новых нарядов. Здесь не только отец или брат стерегут своих дочерей или сестер, мужья жен и т.п., но всякий мужчина по привычке косится на вас, если вы бросаете взгляд на проходящую женщину.

Но возвратимся к саг-кол-агасы-Гассану. Скоро он сделался непременным членом заседаний у чайнаго столика два раза в день, и когда приезжал обратно из отлучек своих в Константинополь, то, любезничая, считал, сколько за нами оставалось его стаканов чаю. Посещения его, особливо вечером, имели для меня то неудобство, что прерывали мое чтение, и если признаться, отнимали у меня, по недостатку стаканов, когда приходила с ним большая свита, мой чай. Время этих посещений бывало всегда шумно. Майор Шатов умел, шутя над кол-агасы, смешить его и избавлять всех нас. Однажды он заставил кол-агасы признаться, краснея и в замешательстве, что поступок его с Николаем и обхождение с нами в первые дни были не хороши. «Я тогда не знал», говорил он, «что вы за люди, а теперь знаю». Он объявил себя совершенным приятелем г. Шатова и, признав его за равнаго себе, часто повторял: «Бен забыт; сен-де забыт. Беребар-команда япалым (я начальник и ты начальник. Будем распоряжаться вместе)». Однако же, по наущениям юз-баши, Гассан изменял этому союзу, делал прижимки и совместнику своему и всем подчиненным.

Вообще, однако, мы пользовались некоторою свободою на острове; солдаты наши безпрепятственно выходили, и, оказывая услуги жителям деревни, даже могли зарабатывать деньги, а что всего важнее, иметь занятие. Обращение Турок с нами было лучше прежнего.

Между тем, г. барон Гибш, получив от адмирала, графа Гейдена, блокировавшего Дарданеллы, обещание пропустить съестные припасы для русских военнопленных, выписал их из Смирны, доставил на остров и приказал раздавать несколько хлеба или галет вдобавок к турецкому пайку; он присылал нам также и другие припасы, между прочим мясо, что очень много способствовало поправлению здоровья солдат, и смертность совершенно прекратилась; но до 300 нижних чинов из 800 сделались жертвою дурнаго содержания, пока не были отвращены его последствия заботливостью датского министра.

Около Рождества, некоторые из офицеров, прогуливаясь в деревне, узнали от Грека, приехавшаго из Константинополя,

о прибытии русскаго военнаго корабля, остановившагося в Буюк-дере. Этому слуху не совсем верили, но не хотели и не верить. Радость овладела всеми; старались положительнее осведомиться, разпрашивали всех: одни подтверждали слышанное нами известие, другие говорили, что молва эта пошла от того, будто бы, что задержано было какое-то судно русскаго подданнаго, педпее под чужим флагом и паспортом. Такое правдоподобное объяснение совершенно разочаровало нас, но мы все еще хотели надеяться. Этот вечер был мучительнее всех проведенных нами на острове. На рассвете один из товарищей вбежал полуодетый в комнату, где я лежал еще на постеле, думая о вчерашнем, и подал мне письмо от барона, держа в руке огромный пакет, предвещавший что-нибудь хорошее.

Посланник писал: «Вчера прибыл на императорском фрегате парламентар к Порте. Мне поручено сделать ей, между прочим, предложение о размене пленных. Я получил сверх того повторительное приглашение от русскаго министерства содействовать всеми силами облегчению вапей участи, и вместе с тем повеление моего государя делать для вас все, что только я мог бы сделать для его собственных подданных».

Невозможно изобразить радость, овладевшую нами. Надобно быть невольником, чтобы знать всю цену свободы. Радость, как и все пылкие страсти, ослепляет рассудок. Мы думали уже, что оковы наши сняты и забыли, сколько было условнаго в данной нам надежде.

В это же время, к увеличению всеобщаго удовольствия, получены были многими офицерами первые известия от родных из Петербурга. Этот торжественный для нас день прошел так же приятно, как и начался и, может быть, не имел равнаго себе в последствии времени, когда нас льстили другия надежды и наконец исполнились. Говорят, первая любовь сильнее всех следующих за нею; я скажу это о радости в одном и том же положении. Только к вечеру начали прокрадываться некоторые сомнения: что, если Порта не примет предложения? Но нет! Что ей в горсти пленных! Ей дадут двух, трех за одного. Так и было предложено, но...

Полученное на другой день письмо барона не заключало в себе ничего новаго; на третий он писал: «завтра отправляется парламентар вместе с ответом Порты. Судьбу вашу может теперь решить только Государь Император». Это довольно ясно



показывало, что условия Турок были несовместимы с нашими выгодами<sup>42</sup>.

Однако мы упорно боролись против очевидности. Министр выводил нас из заблуждения постепенно, и хотя всякий раз выражение его писем заключали менее и менее надежды, наше ободрение, продолжавшееся почти до получения новой надежды, облегчало нашу участь и развлекало скуку. Мы рассчитывали время, нужное для получения ответа от нашего двора, придумывали все препятствия, которыя могли продлить его.

Между тем барон Гибш прислал нам книг, математические инструменты, красок, бумаги и проч.

Пользуясь этими средствами, я снял глазомерный план острова Халки. Подобно многим другим моим товарищам, я читал, писал, чертил и рисовал.

Еще с половины октября начались холодные, порывистые ветры, с проливными дождями, и бывали дни, и даже недели, похожие на самое ненастное осеннее время на севере; но скоро опять показывалось солнце. В ноябре, декабре и январе все террасы и места, покрытые наносною мягкою землею, одеты были яркою зеленью, отличавшеюся от темного цвета кипарисов, лавров и дубов, не теряющих здесь листьев своих, между тем, как нежные деревья стояли уже давно обнаженными, а некоторыя сохраняли только свои плоды, висящие кистями на голых ветвях. В ноябре нередко мы видели высокие анатольские горы покрытые до половины снегом.

В конце ноября, при сильном ветре, пошел первый снег, несколько покрывший высоты и растаявший после двух или трех солнечных дней. В половине декабря я срывал цветы, которые пестрели на зеленой мураве; в январе погода была постоянно прекрасная, а в первых числах февраля зима кончилась подобно догорающей свечке, которая, прежде чем погасает, издает самый яркий свет. Стужа была довольно сильная, снег шел целые три дня, покрыл землю вершка на три и держался несколько дней морозами. Когда он растаял, мы увидели в первый раз зелень поблекшую; но теплые дни скоро возобновили ее, а свежесть, поддерживаемая морем и частыми дождями, сохранила ее до половины лета от зноя. При всех неудобствах, соединенных с холодом в домах, где нет ни печей, ни даже каминов, мы всякий раз смотрели с каким-то удовольствием, когда горизонтальные ветви мрачных сосен наклонялись к земле от наваливагося на

---

<sup>42</sup>Султан, кажется, требовал выдачи всех Турок (до 10,000), взятых нами в плен, за находившихся в плену Русских (которых было всего около 1,000 человек).

них снега или легкие узоры рисовались на стеклах окон. Это нам живо припоминало наше отечество.

В Константинополе комнаты нагреваются только посредством мангалов или жаровень с крупными угольями. От них бывает иногда угар, но для предупреждения его бросают на огонь разрезанные лимоны, или льют сок из них. Турки и греки, одетые в комнатах также тепло, как и на улице, не терпят столько в своих холодных домах, как мы европейцы. Пероты, занимаясь письменными делами, а женщины работами, ставят мангалы под стол, накрываемый чем-нибудь до самого полу, и таким образом доставляют теплоту ногам и части туловища. Только в доме русского посланника в Буюк-дере есть печи, сделанные нарочно выписанными из России печниками.

Барон Гибш, с которым был у нас ежедневный обмен писем, писал нам в один из зимних месяцев, что по случаю торжественного дня Датского двора у него будет бал, изъявляя свое сожаление о том, что не может нас видеть в тот день у себя и доставить дамам Перы несколько новых танцоров. Мы также пожалели, и тем дело кончилось. Настал день праздника, о котором никто более не думал, и день этот пропел также скучно и мрачно, как и все предшествовавшие ему. Но к вечеру саг-кол-агасы, с которым, надобно прибавить, были мы на тот раз в большом ладу, вздумал угостить нас музыкою. Предупредив нас об этом через терджимана, он явился к чаю с юз-башою, несколькими турками и двумя греками, из которых один пришел со скрипкою, а другой с цимбалами. Мы старались хорошим приемом отблагодарить Гассана за его желание повеселить нас, подчивали его досыта чаем с молоком и сухарями, между тем как музыканты играли разные турецкие и греческие песни, сопровождая их иногда голосом, потом вальсы, англезы и проч. Вдруг кол-агасы пришло в голову, что к музыке идут танцы, и он немедленно объявил нам через Николая желание видеть, как русские и франки танцуют, и предлагал нам пуститься потешать его. Эта роль нам не нравилась и все возможные отговорки были употреблены, чтобы избавиться от нее; но напрасно: кол-агасы имел то общее с людьми, которых называют способными к необыкновенным делам, что у него воля была железная, как и у них, — отделаться от него было чрезвычайно трудно. Одним из предлогов нашего отказа было то, что франки не могут иначе танцевать, как с женщинами вместе и попарно: но Гассан на это отвечал: «Вздор! Можно и без них, да здесь на всем острове и нет ни одной, которая бы умела танцевать по вашему; а когда уж непременно

надобно, так пусть снимут сюртуки, наденут белые простыни, завяжут платками головы; тогда будут похожи на женщин и девок, и пусть так танцуют, а не то я с ними поссорюсь. Я начальник, а у нас чего начальник захочет, то и надобно делать». Этот аргумент был довольно силен, и когда начальник наш не удовольствовавшись козачком, котораго отплясал терджиман, продолжал требовать, чтобы мы все, сколько нас было, танцевали вдруг, попарно, и назначил сам кому быть за дам, — то и был открыт бал. Гассан видя, что мы более ходили, и никто не прыгал, настаивал, чтобы мы подражали пляске Николая; наконец неотвязчивость этого человека заставила нас провальсировать несколько туров. Мало по малу движение произвело свое действие: кровь прилила и расположила нас к истинной веселости. Тогда уже кол-агасы не нужно было понукать нас, а оставалось только любоваться. Изредка только, подметив счастливый прыжок, который ему особенно нравился, Гассан заставлял повторять его. Восторг его не имел границ; он истощал нам свои похвалы, выражая их словами: «Шайтан Москов, чок шайтан! Геп белир (русские настоящие черти, все знают)». Его приводили в исступление восторга гримасы, которые, разрезясь, делали записанные в дамы, пародируя кокеток. — «Продолжай, продолжай, повторял он, бизым, кокона былъмез бейла!» (наши женщины так не умеют). Кол-агасы остался совершенно доволен нами.

По окончании танцев мы спросили у греков: знают ли они какия-нибудь свои песни, в которых бы воспевались геройские подвиги или выражались народные чувства. Они отвечали, что знают, но боятся петь в присутствии мусульман, потому что песни эти дышат к ним ненавистью. Однако же, будучи уверены, что ни один из турок не понимает по-гречески, они пропели две песни, в напеве которых было нечто величественное и восторженное, увлекавшее душу, несмотря на то, что восточные трубадуры пели в нос. Мы могли судить по некоторым понятным для нас выражениям: «варвары, тираны» и т. п., что действительно греки сильно честили своих завоевателей, но турки не обращали никакого внимания на эти песни, только кол-агасы часто прерывал их, чтобы заставлять музыкантов петь свою любимую турецкую песню, которая выражала грубые желания мусульманина, находящегося в веселом расположении духа. Наконец, все собеседники наши разошлись и оставили нас на свободе шутить, припоминая комические сцены этого неожиданного

праздника. На другой день описание его было читано при всеобщем смехе в доме барона Гибша.

Гассан, думая, что он чрезвычайно угодил нам, заставив нас танцевать, через несколько дней попросил у нас свидетельства в том, что, будучи приставлен к пленным, он обходился с ними хорошо. Это ему нужно, говорил он, для того, чтобы в случае, если бы он был отправлен в армию и взят в плен, имел хороший прием у русских. Он получил такое свидетельство на большом листе и очень радовался ему, зная, что прежние начальники стражи получали только маленькия записки. Не видя в этом ничего вредного, мы давали всем просившим туркам такие свидетельства, уверяя их притом, что им должно скорее бросать оружие, когда будут в опасности.

Дружба наша с саг-кол-агасы-Гассан-агою ехала, если позволительно так выразиться, по весьма гористой дороге, то подымалась она очень высоко, то слишком низко опускалась. Кроме других причин таким переменам, безтолковость его была часто для нас несносна. Он, то выходил из границ своей власти в угождениях нам, предлагал ездить по ближайшим островам и даже в Константинополь, на что никто из нас не решился, то накладывал новые запрещения в весьма позволительных льготах наших. Весной, когда жители острова стали обрабатывать виноградники и нивы, и имели нужду в рабочих, мы, желая доставить солдатам занятие и небольшую выгоду, приступили к кол-агасы с просьбою позволить им наниматься у греков, и объясняли ему всю пользу, какую это должно было доставить их здоровью, о котором ему, как начальнику, надлежало заботиться более, нежели о том, чтобы кто-нибудь не ушел. До сих пор умерло уже до 300 человек от болезней, говорили мы, и эти болезни происходили от бездействия и от дурного содержания, а ни один солдат не ушел. Но все было напрасно: кол-агасы не хотел и слушать нас. Трудно победить логикою того, кто ее не имеет. Однако же, мы постепенно выбивали Гассана из всех его ложементов, устроенных бессмыслием и защищаемых упрямством, пока он, наконец, не укрепился в самом забавном софизме, из которого его не возможно было вытеснить оружием здравого рассудка. «Как могу я допустить, твердил он с важностью, чтобы пленные, гости (муссафир) моего падишаха, унижались, получая плату от рабов? (раия)». Нельзя было не смеяться, слыша от кол-агасы такую выходку, бывшую в совершенном разногласии со всем тем, что испытывали пленные. Разве приличнее достоинству султана, отвечали ему, допускать

пленных гибнуть подобно животным, нежели позволить, помогая своим единовѣрцам, находить в том средство к сохранению своего здоровья и даже своей жизни? Эти доводы не имели веса в уме саг-кол-агасы, и мы расстались с ним, показав большое неудовольствие за невыполнение просьбы, столь согласной с здравым рассудком, и возбудив досаду в нем резкими выражениями о бесчеловечном равнодушии его и его начальства к положению пленнх. Это поссорило нас с Гассаном, который возобновил свои притеснения к офицерам и солдатам, беспрестанно жаловался и кричал, что мы делаем такие вещи, за которые он подвергается строгому взысканию, и что он не раз уже получал выговоры за свою слабость в отношении пленнх. Мы стали осторожнее, но это было бесполезно и не отвратило оскорбления, нанесенного им одному из офицеров, для того только, как мы узнали позже, чтобы показать приехавшему на остров своему приятелю, как велика была его власть над пленными.

Обида была принята за общую всем офицерам и немедленно терджиман был отправлен к кол-агасы, сказать ему, что отныне всякая связь между нами прекращается навсегда, что мы имеем способ довести до сведения Порты дерзкий его поступок и будем просить возмездия. «Да ведь я это сделал только с одним», отвечал кол-агасы, «а другим что до того за дело? А если так, я им себя покажу». Николаю велено было потребовать обратно от Гассана данное свидетельство, но ему не хотелось расстаться с этою бумагой, и он сказал, что пришлет ее сам. Такой же ответ был получен и во второй раз. Наконец талисман этот был принесен одним из его подчиненных и при нем изорван и брошен с презрением на землю. Злоба кол-агасы достигла после того до высочайшей степени. Он велел запереть дверь монастыря и не выпускать никого ни за каким делом, ни даже самого терджимана. Положение наше еще никогда не было так плохо, как в этот раз. Меры, принятые раздраженным турком, походили на то, что он хотел заморить нас голодом. Мы ждали действия письма, отправленного к датскому министру по поводу этого происшества, но у нас не было воды для питья и приготовления пищи и мало было дров. Вода была послана нам с неба. Ночью выпал снег. Сотни людей с разными сосудами ожидали под навесами монастырских кровель первых лучей солнца, от которых должен был растаять белый слой, покрывавший кровли. Гордыня кол-агасы была унижена. Недостаток в дровах был отвращен бережливостью. Но на последок все приходило к концу, известия от министра не было, а кол-агасы, боясь последствий своего

поступка, уехал в Константинополь, оставив нас в руках всегдашнего нашего врага, юз-баши, который нисколько не ослаблял строгости, заведенной его начальником. Солдаты, подходившие к дверям монастыря, были отгоняемы ударами. Все запасы приходили к концу, но мы решились не сдаваться ни за что, ожидая из Перы помощи, которая бы заставила осаждающего отступить.

Неожиданное посещение вывело нас из этого затруднительного положения. Осада продолжалась уже три дня; по утру на четвертый мы увидели вошедших в монастырь несколько хорошо одетых турок, из которых трое были в синих плащах и в фесах, следовательно принадлежали к регулярному войску. Нам припомнилось тогда, что за месяц перед тем барон Гибш писал об одном бим-баши, Гафиз-аге, познакомившимся в Шумле с г. Шатовым и думавшем приехать к нему. Это верно он, думали мы, и надежда найти в нем защиту оживила нас. Один из новых посетителей, увидя нас у окон, кричал чистым русским языком<sup>43</sup>: «Мы приехали к вам в гости, господа, только покажем здесь наш вид и придем наверх.» — «Милости просим», был наш ответ. В одном из чиновников мы узнали ловкого черкеса, который разъезжал с богатым луком, когда меня и моих товарищей везли с поля битвы в Шумлу.

Гафиз-ага, в сопровождении двух своих братьев, кол-агасов командуемого им конного полка, вошел к нам с распростертыми объятиями, с выражением радости и живого участия. После первых приветствий, он сел, пригласив нас всех также сесть. Около него и его спутников составили большой и тесный круг, хозяева поставили себе обязанностью занимать гостей. Пока тот из гостей, который говорил по русски, переводил наши слова Гафиз-аге, другие офицеры объяснялись как умели с младшими его братьями, молодые люди были очарованы ими и скоро стали как будто старыми знакомыми.

Один из уланов эскадрона г. Шатова подал Гафиз-аге трубку и отошел, Гафиз посмотрел на него пристально, соскочил со стула, бросился к нему, остановил его и, обратясь к нам, вскричал: «этот самый солдат ранил моего брата, он славно дрался, это храбрый воин, я люблю таких». Микишин, так назывался герой, стоял перед бим-баши навтыяжку, изумленный

<sup>43</sup> Он был, по его словам, взят ребенком при покорении Анапы в плен, воспитан в доме одного вельможи в Петербурге, служил в русской гражданской службе, но вспомнив родину, говорил он, я возвратился. Мы его называли Николаем Ивановичем, хотя он уже переменял это имя на турецкое.

неожиданным восклицанием. Между тем Али-ага, тот самый, который был ранен, бросился к Микишину и поцеловал его в щеку, это еще более сконфузило улана, почтительной стойкой и показавшимся на щеках румянцем скромности он отвечал на похвалы благородных мусульман, и потом вышел. К сожалению, этот храбрый солдат, по возвращении своем из плена, умер в Румелии от болезни.

Одною из первых забот нашего гостя было спросить: каково нам и как с нами обходится стража. Бим-баши был поражен рассказом о притеснениях, испытанных нами, приносил тысячу извинений в том, что начальство прислало к нам человека, который действует совершенно противно его намерениям, уверял, что будучи доведены до сведения правительства, поступки приставов наших не останутся без взыскания, и прибавил, что он в качестве простого посетителя может только дать им благой совет, быть осторожными, но ручается, что по возвращении его в Константинополь все будет исправлено, а нам ничего не останется желать относительно нашего содержания на острове. Он велел позвать к себе юз-баши и порядочно вымыл ему голову.

К вечеру приехал саг-кол-агасы Гассан-ага и немедленно явился в наше общество в полной форме своего звания. Гафиз-ага принял его вежливо, подал ему трубку, которую сам курил, и начал с ним говорить насчет наших жалоб. Кол-агасы находился в приметном замешательстве, признавал себя виновным и почти не оправдывался, обращался к нам с ужимкою, просящей примирения и сказал бим-баши: «будьте вы судьей, не странные ли они люди, — три месяца я был с ними хорош, и они были мною довольны, один день я повел себя дурно, и вся дружба кончилась». Когда нам переводили эти выражения, щеки Гассана покрывались краскою, и на смущенном лице выражалось унижение, которого не могла скрыть принужденная улыбка. Объяснения продолжались. Видя явное желание кол-агасы восстановить с нами прежние свои отношения, видя также, что Гафиз-аге хотелось сладить дело, мы кое-как помирились с Гассаном и обратили разговор на другие предметы. Разговор с Гафиз-агою был приятен, его природный ум, тонкое чувство приличия, живое участие в нашей судьбе и желание сказать нам что-нибудь приятное, — все это вместе с его скромностью, производило самое приятное впечатление. «Ваше дело», сказал он г. Шатову, «приносит вам и вашим подчиненным истинную честь. Мы не можем и думать меряться с русскими войсками в равных силах. Конечно, мы надеемся, что со временем и мы

достигнем цели наших нововведений, но для этого нужны годы. Петр Великий начал подобно нашему султану, и теперь Россия имеет войско не хуже прочих европейских наций».

Я заметил из слов многих турок, что они любят сравнивать настоящую эпоху своего государства с эпохой великаго преобразователя, но с другой стороны, в быстрых успехах русского оружия в этом (1829) году, им мерещилась возможность событий 1812 года. Эти надежды поддерживаемы были у правительства, как я думаю, иностранцами, пользовавшимися доверием Порты.

Гость был любезен, как нельзя больше, совершенно обворожил нас и заставил бы переменить тогдашнее мнение наше о турках, если бы мы не знали, что он был родом черкес. Гафиз-ага был очень щедр к военнопленным солдатам, и я заметил у него какую-то утонченность в выборе способов дарить, дабы отклонить малейшее подозрение в желании выказать себя. Вот один из этих случаев: во время второго своего посещения, уже с одним из своих приятелей, Ахмед-беем, Гафиз увидел в саду одного грека несколько десятков солдат наших, которые теперь получили право заниматься работами. Гафиз-ага перепрыгивает через забор, берет у одного из солдат заступ, сам начинает копать с ними землю и потом почти неприметным образом дает им горсть серебрянных монет и велит поделиться.

На другой день поутру, уезжая, Гафиз желал, чтобы мы проводили его до пристани, и для соблюдения всех форм, попросил на то позволения саг-кол-агасы-Гассан-аги, который согласился с величайшею готовностью. Прощаясь Гафиз прибавил, что еще раз увидится с нами перед отъездом своим к армии в Шумлу и, чтобы не оставить нас без покровительства, познакомил с своим другом, который будет нам очень полезен, потому что близок к султану.

Мы провожали этого благородного человека с чувствами искренней дружбы. Весла ударили по гладкой поверхности воды, беглая струя помчалась за быстро удалявшеюся лодкой, мы не сводили глаз с нее, пока она, на половине пути к Константинополю, слилась с темным цветом отдаленного моря.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ.

Гассан-кол-агасы сменен. — Прекращение прежних стеснений. — Посещение барона Гибша. — Обзорение острова Халки. — Надежда на скорое освобождение. — Ахмед-ага. — «Похищение дев». — Освобождение партии пленных. — Прибытие новых пленников с «Рафаила». — Переход через балканы. — Волнение в Константинополе. — Мир. — Освобождение. — Отплытие в Константинополь. — Константинопольский рейд. — Визит сераскиру. — Обед у барона Гибша. — Возвращение в главную квартиру русской армии.

Французы говорят: *le malheur ne vient jamais seul*; тоже бывает, когда счастье к кому повернется лицом, — тогда одна хорошая новость приходит за другою. На другой день после посещения Гафиза-аги мы получили новое удостоверение в том, что наше положение поправится. Датский министр писал, что он представлял Порте наши жалобы, что она не одобряет поступки своего чиновника с пленными, что он будет сменен и будут приняты меры для предупреждения подобных жалоб на будущее время. Столь благоприятному ответу способствовало содействие Гафиза. На следующий день явилась к нам новая стража под командою юз-баши, человека весьма благовидной наружности. Кол-агасы был весьма предупредителен к нашему начальнику. Он приказал вынести ковер и послать его у дверей монастыря на скамейке, пригласил юз-баши сесть и угощал его трубкою и кофе. Из этого мы заключили, что кол-агаса обходился с новым начальником стражи не так, как с подчиненными, и что, следовательно, не остается более в монастыре. Мы надеялись, что Гассан, получив приказ о том, что смещен против своей воли, постарается избежать свидания с нами, соберет свою команду и отправится поскорее с нею в Стамбул, но страсть чваниться и корчить начальника не оставила его и в эту минуту, когда он был так унижен он доставил нам еще одну забавную сцену. Когда новый юз-баши куда-то ушел, кол-агасы приказал позвать нас всех к себе и принял следующими словами: «Вот вы жаловались на меня, — что ж помогло вам? Посмотрите, какой я получил приказ».

И он начал читать небольшой лоскуток бумаги, который держал в руке: «Приказывается тебе держать русских как можно строже, не пускать их никуда из монастыря, а тем менее пускать в деревню; а если ты найдешь нужным для них моцион, то пусть они ходят не далее первой кофейни, и то под караулом. Впрочем,

все распоряжения по этому предмету предоставляются тебе самому, как начальнику пленных».

Он запинался, явно изобличая тем, что сам сочинял будто читанное им в бумаге. Было забавно видеть его читающим, когда мы знали, что он был безграмотен, и если получал какие приказы, то заставлял читать находившегося при нем писаря, который также заменял муллу при роте, состоявшей у нас в карауле.

Вечером, Гассан, вышедши к нам и видя тут же нового юз-баши, не смел быть так нахален, как без него, но уверяя, что он не получал повеления собственно о себе, ехать ему или нет, спрашивал г. Шатова, как он думает и как поступил бы на его месте в России. Зная, что это последняя увертка смущенного самолюбия кол-агасы, мы доказывали ему, что он должен непременно остаться. «Я так и сделаю», говорил он. Наконец, настала пора прекратить комедию и он рано поутру на другой день убрался из монастыря так, что никто из нас его не видал.

Новый юз-баши объявил нам, что мы свободны на острове делать, что кому угодно, что он просит нас взять на себя обязанность смотреть за пленными солдатами, а он ни во что мешаться не станет, лишь бы не было беспорядков и обид жителям деревни, и все солдаты и офицеры возвращались бы при захождении солнца в монастырь. Таким образом мы могли считать себя избавленными от неудовольствий. Это было в половине марта.

Я не говорю о распоряжениях, которые сделаны были после этой решительной сдачи пленных солдат в наше ведение. Мы и прежде, сколько позволяло собственное угнетенное состояние офицеров, заботились о сохранении между ними порядка. Офицеры имели свои части и во всем относились к майору Шатову, повиновение к ним никогда не нарушалось. Кол-агасы вздумал было вербовать наших солдат в мусульмане, мы ему представили, как мало чести и пользы для исламизма в приобретении нескольких негодяев, потому что честный и хороший человек не переменит своего закона и не покинет родины, кол-агасы отстал от своего намерения. Таким образом, из всех бывших на острове солдат, ни один не сделался мусульманином, кроме дезертиров, бежавших из монастыря, когда мы уже надеялись получить свободу, схваченных у Хили в Азии и отвезенных уже прямо в Терсхане, где они и остались.

Дня через три по отъезде Гафиз-аги, мы увидали опять одного из братьев его, саг-кол-агасы Солейман-агу. Он приехал к нам просить у г. Милорадовича гусарскаго мундира для представления

султану. Когда он был у нас в первый раз, этот прекрасный мундир, светлоглубой доломан с синими чекчирами и красным ментиком с серебром, ему очень понравился. Похвалы эти дошли до слуха султана. С мундира снят был образец, по которому к весеннему байраму одеты были приближенные военные чиновники султана Махмуда.

Вскоре посетил нас барон Гибш, которого мы встретили с величайшей радостью. Он приезжал уже раз инкогнито, еще до моего прибытия на остров. Теперь он был с тескере (пропускной билет от таможенного ведомства), на имя секретаря своей миссии. Напрасно мы искали слов для выражения признательности нашей к нему, — она была выше всякого выражения.

Мы теперь свободно ходили по всему острову и хорошо узнали его и его жителей.

Остров Халки имеет две версты в длину от северо-востока к юго-востоку, около версты в ширину и состоит из нескольких гор, довольно высоких и весьма каменистых, покрытых зеленеющими кустарниками. Верхний слой почвы острова красная глина, перемешанная с мелкими камушками.

Виноградные сады занимают не меньше, если не больше четвертой части острова. Лозы, как и в Румелии, достигают необыкновенной толщины, так что могут называться деревьями. Нет почти ни одного греческого дома, который бы не имел у дверей своих одного или нескольких таких деревьев, расстилающих весной свою зелень по стенам дома и образующих, с помощью подставок или перекладин, прекрасные беседки от жара. Бузиновое и жасминное деревья также достигают здесь удивительного роста. Лимоны и апельсины, оставленные на открытом воздухе, малорослы и дают мелкие плоды, едва ли хорошо вызревающие. Для садовой зелени нужно унавоживать землю, а в летнее, сухое, время нужно обильное орошение.

Две или три небольшие нивы, засеваемые пшеницей, составляют хлебопашество острова. Заступ садовода заменяет на них плуг.

На острове Халки находятся три монастыря, они окружены прекрасными террасами, которые осеняются кипарисами, яворами, липами и другими деревьями: монастырь Св. Панагии более всех мне знакомый, Св. Троицы и Св. Георгия. Все три построены в живописных местоположениях, особенно монастырь Св. Троицы, лежащий северо-восточной части острова на вершине отдельной горы. Виды, открывающиеся из него во все стороны, очень обширны. Горизонт ограничивается или только бесконечной

далью, или горами Анатолии. Остров Мармара, находящийся в расстоянии около ста верст, в ясный день очень хорошо виден.

Ни в одном из этих монастырей нет монахов. Зданиями управляют живущие в них священники, которые, пользуясь доходами от виноградных садов и отдачи квартир в найм, платят положенную сумму константинопольскому патриарху, а монастырь Св. Георгия отсылает доходы в Иерусалим. Но собственность в Турции, особенно собственность христиан, не ограждена ничем, потому Порта, не спрашивая никого, назначила самый поместительный монастырь для заточения пленных.

Деревня Халки состоит из сотни домов, построенных почти сплошь один подле другого, с узкими улицами и садиками, окруженными каменною оградой и чрезвычайно украшающими деревню. Неопрятность улиц вознаграждается чрезвычайной чистотой за порогом дверей, всегда запертых. Это можно сказать о всех городах Турции, мною виденных. Из домов проведены на улицу жолобки, по которым вытекают на улицу все нечистоты. Так делают даже в тех домах, которые стоят у самого моря и из которых удобно было бы бросать в него то, чем заражается воздух у окон и дверей их. Каменная мостовая несколько помогает этому неудобству.

Оседлые жители острова — греки, промышляющие рыбной ловлей, содержанием лодок и перевозов и мелкой торговлей. Вообще они жалуются на бедность и большие потери со времени греческой революции. Они довольно деятельны, хотя, не будучи земледельцами, имеют достаточно времени, чтобы сидеть с трубкой и со стаканом вина в кофейнях и погребках.

Пятьдесят лодок, из которых десятка два больших, в три или четыре пары весел, составляют главнейшее богатство. Но, несмотря на эту ограниченность способов и тягость больших налогов, жители не терпят слишком большой нужды.

Я любил вечером приходить к маленькой пристани, находящейся в деревне и смотреть на движение лодок, прибывающих из Константинополя и других мест, большая часть народонаселения Халок собиралась на берегу, выносимы были привезенные вещи, любопытные толпились около приезжих, разговоры шли живо.

Весною 1829 года окончена была постройка казарм для двух регулярных полков и морской школы с мечетью, на берегу моря, в конце деревни. Это здание весьма красиво, хорошо отделано внутри и производит живописный эффект с аллею больших кипарисов, ведущую к нему от монастыря Св. Георгия.

К казармам примыкает прекрасный дом, принадлежавший прежде греческому негодянту Фейдуло. Хозяин был казнен в начале греческого восстания, дом конфискован и отделан для приезда султана, а семейство Фейдуло находится в беднейшем положении в Царьграде. Место, занимаемое казармами, было прежде покрыто домами греков, им велели сломать дома, а место денежного вознаграждения заплатили им угрозами.

Дурная погода и бурливое море помешали Гафиз-аге с своим приятелем посетить нас, по своему обещанию, в первое воскресенье. Мы уже думали, что он уехал в армию, когда он, чрез две недели после первого свидания с нами, исполнил данное слово. Он прибыл в сопровождении Ахмед-аги<sup>44</sup>, бим-баши, командовавшего конным полком султанской гвардии и пользовавшегося особенным расположением своего государя. Поспешный и случайный отъезд их из Константинополя, говорили они, помешал им привести с собой переводчика, за которым тотчас послали: они имели сказать нам что-то интересное, чего не хотели передать ни через терджимана Николая, ни через г. Марковича. Это предупреждение заставляло нас ожидать с нетерпением появления их переводчика, Николая Ивановича, о котором я упоминал выше. Он прибыл, и мы услышали, что Ахмед-ага воспользовался счастливой минутой, чтобы получить от султана надежду на наше освобождение, которое, он уверен, последует весьма скоро. Трудно описать восторг наш при этом неожиданном и столь решительном объявлении, — мы все бросились обнимать Ахмеда-агу.

На другой день поутру мы простились с Гафиз-агою надолго и, может быть, навсегда, а с Ахмед-агою — до скорого свидания, которое должно было решить нашу судьбу.

Мы уведомили Датского посланника о данном нам обещании. Он отвечал сначала, что о том нет никакого слуха, ни в Пере, ни в Константинополе потом писал, что поговаривают об отправлении в Россию пяти офицеров и ста человек нижних чинов; наконец, что, по общей молве, надобно ожидать возвращения всех военнопленных, содержащихся на острове. Смирнская газета, приводившая нас обыкновенно в величайшую досаду своими бреднями и нелепостями, на этот раз порадовала нас статьей, подтверждавшей наши надежды.

---

<sup>44</sup> Ахмед-ага, вскоре Ахмед-бей, потом Ахмед-паша, играл важную роль в Турции. В звании капудан-паши, он изменил султану, передавшись со всем флотом Египетскому паше, в службе которого и умер, кажется забытым начальником какой-то отдаленной области. 1858.

Ахмед-ага возвратился к нам не так скоро, как мы его ждали, но повторил прежние свои слова, прибавляя только, что обстоятельства не позволяли отправить всех нас вдруг, а на первый раз поедут шесть офицеров и сто нижних чинов, и предоставил нам выбор солдат, отдавая преимущество женатым. Я спросил у него, будет ли это преимущество распространено и на офицеров, он отвечал, что выбор офицеров диван предоставляет самому себе. Успокаивая всех, он уверял самым положительным образом, что не более, как в две партии, следующие скоро одна за другою, русские совершенно оставят остров Халки. Когда мы просили его за товарищей наших, находившихся в Терсхане, он отвечал, что они будут также освобождены. Взяв список нижним чинам, назначенным к первой отсылке и записав имя г. майора Марцинкевича, которому болезнь давала полное право быть в первой возвращающейся на родину партии, Ахмед-ага на следующее утро уехал с обещанием скоро возвратиться и быть свидетелем отъезда счастливых.

Проходила неделя, потом другая, прошел месяц, — Ахмед-ага не приезжал, слухи об отсылке пленных умолкали, военные действия возобновлялись. Юз-баши и миллеазымы начинали понемногу приниматься за старину; греки опять стали жаловаться в Константинополь на мотовство своих жен и дочерей, причиной которого были будто бы пленные офицеры. Прежнее уныние сменило в нас бодрую нетерпеливость и все шло наперекор прежним надеждам. В это время я жестоко заболел от простуды, и только дружеская заботливость товарищей и неусыпные старания г. Треффера спасли меня от смерти. Я страдал жестокой лихорадкой с половины апреля до половины июня.

В ожидании моего выздоровления и прибытия Ахмед-аги, я должен упомянуть о забавном происшествии, которое известно было в нашем маленьком свете на острове под именем «похищения дев».

Завистливые женщины и ревнивые мужья соединились против нескольких хорошеньких гречанок и, пригласив на помощь себе местные власти, духовную и светскую, во время ночной темноты увезли около десяти красавиц на остров Принцев и посадили их в монастырь, находящийся на дикой вершине острова, из которого они видели, как на ладони, места, бывшие свидетелями торжества их красоты, будучи осуждены терпеть Танталовы муки.

Мы начинали уже забывать обещание Ахмед-аги, как вдруг он входит на двор монастыря, так что мы не заметили его приезда. Все офицеры побежали к нему на встречу, кроме меня, еще

лежавшаго в постели. Ахмед-ага вошел в комнату со всею толпою, полной ожидания, взглянул на меня, находившегося почти в беспамятстве одного из бывавших со мною почти ежедневно четырех пароксизмов и, пройдя в другой покой, прочитал султанский фирман, которым освобождались гг. Марцинкевич, Игнатъев, Ростовцев, Милорадович, Докторов и Рачинский. Им позволено было взять, кроме ста человек прежде назначенных солдат, еще тех, которые были при них в услужении. Я не испытал, но слышал и воображаю, что оставшимся моим товарищам было очень, очень больно; это чувство было не зависть, но кто, будучи голоден и видя в руках другого сытный кусок, не пожелал бы подобного и себе? Ахмед-ага уверял, что вслед за первыми кораблями отправятся и другие, также с пленными, но все были уже ознакомлены с поспешностью турок в исполнении обещаний. Напрасно бим-баши старался повторением своих уверений рассеять грусть не попавших в счастливый список, напрасно они сами силились скрыть ее от него, дабы не оскорбить недоверчивостью или недовольным видом своим человека, который имел право на благодарность всех пленных. Между тем, освобождаемые, в восторге счастья, которому не смели верить, и в печали о том, что не могли его делить с остальными товарищами неволи, находились также в полустрадательном состоянии, и день этот прошел для всех в каком-то смущении.

Взопло нетерпеливо жданое солнце, которое должно было осветить в последний раз холмы острова для покидавших его, и настал час расставания. Оно было трогательно, все офицеры и освобожденные солдаты спустились к морю, лодки приплыли. Ахмед-ага, повторив прежние свои уверения, сел последний в лодку. Раздалось: «Прощайте! Пишите из Одессы!». Лодки отплыли, все замолкло, и освобожденные уже любовались окрестностями Константинополя, когда печальные товарищи их все еще стояли на берегу.

Вслед за тем разнесся неприятный слух о взятии Фрегата «Рафаил», и матросы, служившие на нем, были в скором времени присланы в монастырь, а офицеры оставлены в Терсхане. Это происшествие, сопровождаемое сказками о других успехах турок на море, казалось нам совершенно невероятным, пока мы не получили о нем известия от барона Гибша. Нужно ли говорить, как неприятна была для всех нас эта новость?

Из иностранных газет, также из листков петербургских и одесского журналов, иногда доходивших к нам, мы, в продолжении зимы, знали подробно все, касавшееся до

расположения наших войск в княжествах и в Болгарии и до успехов русского оружия. Но, в начале новой кампании, мы долго оставались в неизвестности о ходе военных действий. Грекам, которые провозглашали несколько раз покорение Шумлы и всегда несправедливо, мы перестали верить, а Датский министр ничего не сообщал нам, имея уведомление уведомлять только о том, что положительно было известно. Около половины июня месяца начали носиться глухие слухи о поражении турок. Барон Гибш извещал, что должно было произойти нечто весьма важное, и не в пользу турок, но что именно — он не мог узнать. Все это ободряло нас, хотя мы видели, что с каждой потерей Порты — освобождение, нам обещанное, становилось сомнительнее. Но теперь занимало нас другого рода чувство и нетерпение узнать подробности битвы, которая, по всему казалось, должна была быть решительной, возрастало с каждым днем и со всякою новою вестию, слышанной от греков, преувеличивавших урон своих и наших неприятелей от 42 до 70 тысяч. Наконец, посланник написал нам: «Порта объявила официально, что визирь, встретив между Шумлою и Силистриею русский корпус, напал на него и совершенно разбил, взяв 2,000 человек в плен, но в тоже время был атакован с тылу другим корпусом, и принужден пробиться сквозь него, что и исполнил с потерею, при чем были избиты все прежде захваченные пленные<sup>45</sup>. Урон его простирается до 15000, но неприятель потерял, если не больше, то столько же.» Подобное происшествие, прибавляя барон, должно иметь важные последствия.

Известие это надолго доставило нам весьма приятное занятие — соображать и дополнять то, что казалось мало правдоподобным. Рассматривая плохую немецкую карту, как-то нам попавшуюся, мы перебирали все случаи, которые могли дать повод к битве, и предполагали операции, которые после оказались в главных чертах верны с событиями. Слова: «это происшествие должно иметь важные последствия» представлялись нам предзнаменованием скорого мира. В самом деле, мы были обрадованы известием о начале переговоров в Шумле, но не надолго.

Шумла и Балканы стояли подобно обманчивым призракам пред глазами Порты и препятствовали ей ясно видеть положение дел. Мы перешли Балканы. Слух об этом распространился очень

---

<sup>45</sup> До 60 человек нижних чинов и несколько офицеров, взятых в отряде г.-м. Куприянова, были действительно умерщвлены. 1829. — это сведение было нами получено, сколько припоминаю, от ротмистра Иркутского гусарского полка, Муравьева, взятого в плен при Кулевчи и присланного на остров. 1855.



быстро. Турки (то есть народ, а не правительство) не скрывали ни от кого своих поражений и начинали негодовать на правительство, упорствовавшее продолжать войну. По мнению многих франков, знающих Турцию и видевших тогдашнее положение дел, недоставало недовольным только предприимчивого предводителя, чтобы произвести переворот в правительстве, ускорить мир и восстановить янычар, уничтожив все нововведения султана. Взятие Арзерума не произвело большого впечатления на народ, по отдаленности этого города от Константинополя. Но оно, без сомнения, сильно подействовало на Порту.

Открыт был около этого времени заговор и ежедневно до нас доходили слухи о казнях, происходивших в разных частях Константинополя всенародно и других, исполняемых будто бы тайно, еще гораздо многочисленнейших.

Еще до обнаружения заговора против правительства, в Константинополе было несколько пожаров. Их приписывали заговорщикам, будто бы хотевшим раздражить народ. Один из таких пожаров был весьма силен, продолжался более двух суток и обратил в пепел большую часть Галаты. С нашего острова пожар этот представлял ночью величественное зрелище. Зарево, обнимавшее все небо, отражалось в море и освещало вершины гор, а стройные минареты мечетей казались огненными стрелами, выходящими из пламенного жерла.

Остановку наших войск у подошвы гор в Карнабате Порта почитала, может быть, нерешимостью или истощением после усилий, и не теряла надежды на новые успехи. Султан давал в это время пышные публичные аудиенции английскому послу, лорду Гордону, и датскому, барону Гибшу и, по словам очевидцев, при всех случаях сохранял вид совершенного спокойствия и равнодушия. Между тем производились беспрестанные работы для укрепления окрестностей столицы, и Порта разглашала, что Махмуд решил ожидать русских в Константинополе и, защищаясь в стенах его, или положить предел успехам неприятеля или, оставив столицу в пепле, удалиться в Азию, с твердой решимостью не заключать мира, пока перевес не перейдет на его сторону и пока победитель не истощит своих сил самими завоеваниями.

Все эти слухи и приготовления возбуждали в пленных сильные опасения: нам могла угрожать или месть необузданной стамбульской черни или отправка нас в Азию, где неволя должна была возобновиться со всеми своими суровостями, которые были

бы тем тягостнее, что предшествовавшие обстоятельства начинали нам благоприятствовать.

Неожиданное прибытие из Берлина графа Мюфлинга, от сношений которого с Портой мы надеялись перемены в ее расположениях, оживило нас. Известия доходившие до нас, были томительны. Барон Гибш писал: «Только у ворот Адрианополя решится загадка.» Греки распускали молву, что раздраженные жители Константинополя намереваются отомстить на пленных свои поражения в Болгарии и Румелии. Франки, которым, кажется, не нравилось приближение русских, поговаривали о противодействии со стороны иностранных дворов. Смирнская газета храбрилась и доказывала, что дальнейшие успехи победителей невозможны или гибельны для них, она преувеличивала известия о болезнях, свирепствовавших в нашей армии, искала в истории примеров, подобных походам Юлиана на восток и Наполеона на север и звала целый свет на помощь Турции. Сношения наши с Ахмед-агой прекратились, и скоро мы узнали, что он отправлен султаном с важным поручением в Шумлу. Движение наших войск, усилившихся подошедшими резервами, от Карнабата к Адрианополю, было столь быстро, Порта так старалась скрывать от публики военные события, что известие о занятии Адрианополя дошло до нас вместе с известиями о поражениях при Айдосе, Мисселеврии, Ямболи и других делах, предшествовавших ему. Этот удар развязал все языки и Порта отправила с чиновником Прусской миссии своих уполномоченных в русскую главную квартиру для переговоров. Пероты, уверенные в мире, стали меньше недоброжелательствовать русским и сделались откровенны, греки ловили малейшие слухи, чтобы тешить себя и нас. Турки, потеряв всякую надежду на поправление дел своих, явно предались неудовольствию против правительства и мирились с обстоятельствами. К нам уже присылалось вместо ста не более 20 человек, и те были смиренны, как овечки, они весьма часто сменялись и в числе их были такие, которые участвовали в бегстве из Адрианополя. Один турецкий офицер рассказывал сам, как его полк положил в этом городе оружие, как они были отпущены и даже снабжены на дорогу провиантом. Тогда мы были некоторым образом властителями острова, но это величие было не прочно.

После столь ясных дней, вдруг все приняло опять пасмурный вид. Требования русских показались Порте чрезмерными, переговоры готовы были прерваться, и султан велел вооружаться для защиты столицы всем мусульманским ее жителям, которые

были в состоянии носить оружие. Это повеление распространило всеобщий ужас и смятение. Зная характер Махмуда, можно было думать, что он, сделав последнее усилие сопротивления в Константинополе, удалится в Азию, — это, при тогдашнем расположении кабинетов, особенно английского, могло продолжить войну на неопределенное время. Но, с другой стороны, зная цену Стамбула для Порты, должно было полагать, что то была одна пустая угроза: после примеров Арзерума и Адрианополя, чего Порта могла ожидать от защитников своей столицы? Воинственная часть ее жителей была уже уничтожена на полях Румелийских. Смятение Константинополя отражалось и на нас. Это сомнительное положение дел продолжалось однако же не более трех дней, потом барон Гибш уведомил нас, что Порта наконец увидела необходимость согласиться на все условия русского кабинета, что переговоры возобновлены с большей деятельностью и что султан, в залог своего миролюбия, предложил графу Мюфлингу немедленное освобождение русских военнопленных, отдавая их на его попечение, и граф Мюфлинг отнесся к фельдмаршалу Дибичу с вопросом, куда направить освобождаемых воинов. Весть эта, как можно было судить, чрезвычайно нас обрадовала. Наконец, томительная неволя прекращалась: мы были уверены, что вскоре вступим на берег родины. Но уже прошло около десяти дней, а все еще не было ответа касательно нашей участи, какое-то глухое молчание царствовало в Стамбуле о делах, решавшихся в Адрианополе. Слышно было, что Порта все еще колебалась согласиться на требования России. Мы догадывались, что плен наш продолжится до заключения мирного договора. Едва минует бывало полдень, как все офицеры собирались к пристани, ожидая прибытия лодочника, хотя и было известно, что он возвращался не раньше солнечного захода. Едва показывался челнок нашего вестника, все бросалось к нему на встречу и редко давали выдти ему на берег, как уже письмо было схвачено, печать сорвана и нетерпеливое: «что? что?» — раздавалось в тесном кружке, составившемся около того, кому попадалось в руки письмо. Но в течении многих дней, для нас казавшихся годами, письма не заключали ничего удовлетворительного. После нескольких строк, касавшихся до дел колонии, барон Гибш иногда прибавлял: «У нас нет ничего нового, все в неизвестности, мне понятно ваше нетерпение, но будьте покойны — конец близок!». Мы соглашались с нашим покровителем, совестились за свое беспокойство и были, по прежнему нетерпеливы.

Ожидания даже самые верные сбываются не так и не тогда, как мы думаем. Однажды, когда еще никто из нас не успел после обеда выйти из монастыря к пристани, как вестник наш, нарочно раньше обыкновенного посланный бароном, подал мне письмо, по обыкновению, адресованное на мое имя. Взглядываю и читаю сверх адреса большими словами написанную строку: *La paix est signee*. «Господа! мир заключен! господа! мир заключен! ура! ура! ура!» раздалось по всем комнатам. Сбегаются все товарищи и даже солдаты. Всякий хочет видеть собственными глазами драгоценные слова. Пакет не развертывается: написанной на адресе строки уже довольно. Сыплются взаимные поздравления, мы обнимаем друг друга.

Напоследок было прочитано и письмо, содержащее уведомление, что 3 (15) сентября подписан уполномоченными обеих держав мирный договор, и что барон Гибш, получив от графа Дибича-Забалканскаго приглашение отправить военнопленных в город Бургас — приморский, нанял уже купеческие суда для перевоза нас туда, и на следующий день пришлет за нами потребное число больших лодок к отплытию в Константинопольский порт. Ночью прибыли лодки: все было уложено и перенесено на них.

Дорога из монастыря к пристани была усеяна русскими, шедшими к пристани и возвращавшимися назад за вещами. Турецкие чиновники, прибывшие с лодками, для порядка — на прощанье дарили нас еще своими: «гайда! гайда!», но их никто уже не слушал, всякий распоряжался собою и своим багажем, как было лучше и удобнее.

Напоследок, монастырь, место наших страданий, совершенно опустел, деревня наполнилась людьми, кофейня Спирос (Спиридона), некогда *pec plus ultra* наших прогулок, потом свидетельница различных наших волнений от приятных или печальных известий, теперь была свидетельницей веселого прощанья с греками.

Стали садиться в лодки. Вся пристань была покрыта пестрыми группами жителей деревни, все окна заняты гречанками, в том числе и возвращенными изгнанниками. Уже мы в легких каюках! Уже отчаливаем! «Урола!» (в добрый час) крикнули на берегу; «алла разолсун» (благодарим), отвечали мы. Чолны поплыли, белые платки развились в руках прекрасных и непрекрасных гречанок, в знак желаний благополучного пути отъезжавшим: «урола!» — «алла разолсун!» — и мы скрылись за угол острова.

Это было утро 11 сентября, утро того самого дня, в который, тому год назад, только несколькими часами позже, я с моими товарищами прибыл на остров Халки.

Четыре дюжих гребца с усердием ударили веслами по тихому, едва колеблемому легким ветром морю, в челне, где было нас пятеро. Лодка мчалась как стрела. Мы, то смотрели на предметы, мимо которых быстро проносились, то глядели радостно один на другого, не веря еще, что мы уже не пленники. Но вот мы уже в гавани. Вот и бриг, который отвезет нас на родину.

По прибытии в порт, мы увиделись с теми офицерами, которые во время их плена жили в Терсхане, их положение, без сомнения, было тягостнее нашего, но плен их был кратче.

Облокотившись на борт корабля, я долго в безмолвии рассматривал окружающую меня картину. По отвычке от разнообразия, она скоро меня утомила: город казался мне муравейником, а лодки, беспрестанно перекрещивающиеся по заливу, казались летающими мухами; у меня, как говорится, зарябило в глазах. В это время известили о приезде барона Гибша, он скромно, но с видом непритворного удовольствия принял пламенные выражения признательности, которыми осыпали его офицеры, благодарившие за себя и за солдат. Барон изъявил нам свое сожаление о том, что по решительному требованию рейс-эффенди, русские, ни офицеры, ни солдаты, не должны были сходить с своих кораблей на берег, и таким образом он лишен был возможности принять у себя всех офицеров вдруг, но намекал нам о средстве побывать в Пере, разумеется по одному или не более двух, в партикулярных платьях и с провожатыми. Некоторым офицерам, и в том числе мне, действительно удалось посетить его дом.

По возвращении моем с прогулки в Перу, для посещения датского посланника, я был чрезвычайно обрадован, найдя на корабле несравненного Гафиза-агу. Не нужно описывать, как был нами принят этот благородный мусульманин. Гафиз-ага сказал нам, что сераскир Хозрев-папа желал видеть некоторых из нас на следующий день, но что мы должны явиться к нему в партикулярном платье.

Наши солдаты, рассаженные по судам, переезжали в лодках в гости друг к другу. Это было замечено одним из главных чиновников таможни, в виду которой мы стояли на якоре. Лицо это подъезжает в десяти-весельной пестрой лодке под багряным балдахинном к нам, требует переводчика и говорит, что Порта запретила бывшим военнопленным оставлять свои суда, по какому же праву они разъезжают взад и вперед? Столь странное

требование, в котором видна была охота показать свою значительность, было шутливо отражено находчивостью г. Шатова. «Скажи», обратился майор к переводчику, «этому господину, что если он сейчас не уедет, то я велю стрелять по нем из пушек». Известно, что на торговых судах не бывает пушек, разве один какой-нибудь фальконет, которым они салютуют друг друга. На нашем судне было одно подобное орудие. Но, сконфуженный шуткою майора, турок немедленно велел поворотить свою лодку и уехал, сопровождаемый громким смехом с корабля. Поутру приехал опять Гафиз-ага, г. Шатов и я отправились с ним к сераскиру. Мы подымались, вышед на берег, той самой улицей, по которой некогда спускались в тюрьму в Зендхане, потом поворотили, чтобы идти в Эски-сарай (старый дворец), где жил паша. Секретарь датской миссии, г. Романи, был с нами для перевода. Прощедши обширный двор Эски-сарая, мы введены были, по обыкновению, в кегайе, молодому человеку, возвысившемуся в это звание из невольников. У него на софе, может быть нарочно, лежало седло европейской формы, с генеральским чепраком. Выпив по чашке кофе с трубками, приглашены были мы к самому сераскиру и нашли его сидевшим на широкой, красной, суконной софе во всю длину стен, он рассматривал с Галиль-пашей какую-то небольшого формата карту. Мы вошли — они оставили свое занятие, Хозрев немедленно указал нам место на софе недалеко от себя, и оба паша вступили с нами в разговор, предметами которого были наша благодарность сераскиру за оказанную нам чрез посредство Гафиз-аги благосклонность, дружба, восстановившаяся между обоими дворами, наше освобождение, приязнь к нам Гафиза и Ахмед-бея и проч. У меня был весьма похожий миниатюрный портрет Гафиза, снятый ротмистром бароном Ферзенем, я показал его пашам. Они были очень довольны таким вниманием к их чиновнику, и сераскир попросил у нас позволения отправить это изображение к секретарю султана, чтобы тот представил его своему государю. Между тем приведен был к окнам оркестр, заключавший в себе до 60 молодых, щеголевато одетых турок, которые, под руководством иностранного учителя<sup>46</sup>, весьма хорошо сыграли несколько маршей и других музыкальных пьес. За широтою софы нам невозможно было смотреть на оркестр, сапоги наши мешали приблизиться к окну. Хозрев-паша, заметив это затруднение, приказал сказать, чтобы мы не женировались. В продолжение этого времени нам несколько раз подавали кофе и трубки.

<sup>46</sup> Едва ли то не был известный Донизетти.

Наконец, Хозрев спросил нас, не желаем ли мы видеть Константинополь, и на утвердительный ответ наш, поручил Гафиз-аге показать нам все замечательности столицы. И мы с Гафиз-агою отправились обозреть Стамбул, который однако скоро надоел мне своего грязью и зловонием.

Наскучив бродить по тесным, пустым и неопрятным улицам оттоманской столицы, мы спустились к пристани у мясных лавок, где за множеством собак, таскавших внутренности битого скота, не было прохода, и где смрад, при необыкновенном полуденном зное, был убийственный. Поспешно бросились мы в лодку. Барон Гибш ожидал нашего возвращения, чтобы пригласить к себе обедать.

Г. Мокринский, я и Гафиз-ага сели вместе с бароном в лодку, подъехали для сокращения пути к жидовским прибрежным домикам, и выходя, чуть не утонули в грязи, бывшей в этом месте пристани. Но, поднявшись на гору и в собственно так называемую Перу, за все прежние испытания, перенесенные чувствами нашими, особенно обонянием, были вознаграждены чистотою, щеголеватостью и даже пышностью домов, занимаемых европейцами.

Во время стола, Гафиз-ага, несмотря на обыкновенную свою ловкость в обращении и готовность сообразоваться с обычаями европейцев, был несколько связан присутствием сидевших против него дам. Он не поднимал глаз даже и тогда, когда баронесса Гибш обращалась к нему с разговором.

Мы желали как можно скорее пуститься в путь, но ветер дул из Черного моря и нельзя было тронуться с места. Нетерпение начало нас мучить, оно перешло и на шкипера, который наконец воспользовался самым малым ветром, чтобы идти вперед. Мы оставляли места наших страданий, уже остров Халки, лежавший перед нами в туманной дали, скрывался за Скутарскою горою, — но едва дошли мы до быстрого течения, как судно наше стало отбивать в бок и надобно было возвратиться.

Около недели ожидали мы благоприятного ветра. Это время было употреблено на прогулки в ближайших предместьях и на поездки в Перу и Буюк-дере.

Через десять дней после того, как мы покинули остров Халки, подул попутный ветер. Матросы вышли из своего бездействия; раздался голос шкипера. Все суда, спеша воспользоваться первым удобным случаем пуститься к Одессе, тронулись с места и бодро, растянув паруса, шли вперед. Сидя на борте, легко освежаемый

ветром, я истинно наслаждался, смотря в последний раз на прелестные окрестности Босфора, с которыми расставался.

Миновав Буюк-дере, мы начали терять из глаз разнообразные виды населенной части Босфора. Дикие, заросшие кустарником, местами голые и скалистые горы, с обширными каменными замками на их круторебрих скатах, были перед нами. Пролив расширяется, волны делаются крупнее: мы выходим из Босфора, — они превращаются в валы, а приятное колебание корабля в качку. Скоро мы потеряли из виду берег пролива и очутились на необозримой, мрачной, изрытой валами плоскости. Через несколько дней (26 сентября), мы доплыли до Бургаса и вышли на сушу вместе, отведенном для карантина, который нам следовало держать четыре дня.

Г. генерал-адъютант Головин, посетив нас и поздравив с возвращением, объявил, что он ожидает из главной квартиры дальнейших распоряжений относительно нас. Несмотря на отвычку нашу от бивуачной жизни, мы весело беседовали под балаганами, которые вовсе нас не защищали от проливного дождя, продолжавшегося почти все время карантинного срока, который сокращен был до двух суток. Бедствие миновалось и было забыто, а приятные надежды оживляли всех.

Мы увидели и по очищении своем обняли майора Марцинкевича, одного из счастливцев, расставшихся с островом Халки пятью месяцами раньше нас. Сколько у нас было рассказать один другому! Сколько воспоминаний! Я воспользовался удобным случаем, представившись к отъезду в главную квартиру, и в первый раз, со дня выступления нашего из-под Силистрии, расстался я с храбрым и любезным Н. Ф. Шатовым. Я опять увидел Адрианополь — покоренным, униженным, — увидел ту улицу, по которой угрюмый дивитар проводил нас с торжеством, как узников. Но пламенное желание мое обнять жену и детей не сбылось так скоро, как я мечтал. Уже все офицеры, разделявшие со мною бремя неволи, поклонились родной земле, все русские войска оставили завоеванные ими края, а я долго еще странствовал по ту сторону забытого ими Дуная, не раз перебирался через кремнистые кряжи Балкана, не раз, потеряв путь на снежных вершинах во время непогод, искал приюта в полуоткрытом и висящем над утесом жилище болгара или серба: я увиделся с семейством только два года спустя по освобождении из плена.

*А. Розалион-Сошальский.*



## ИЗ РОДА РОЗАЛИОН-СОШАЛЬСКИХ

Не много найдется представителей дворянских родов проживающих в Харьковской губернии, чей вклад в защиту Отечества можно сравнить с вкладом дворян Розалион-Сошальских. Родоначальником этого рода считается полковой писарь Харьковского и Изюмского слободских казачьих полков, выпускник Краковской академии, автор «Логики» Юрий Семенович Розалион, практически все его потомки по мужской линии более двух столетий сражались с врагами Российской империи. Среди них были Генерал-лейтенант Георгий Петрович Розалион-Сошальский, Генерал-майор Генерального штаба Александр Григорьевич Розалион-Сошальский, полковники, подполковники, майоры и более сорока обер-офицеров, единицы из них остальных без наград и внимания царствующих особ.

Не менее значимы заслуги Розалионов и в статской службе. Действительный статский советник Иван Григорьевич, в начале XIX века составил статистические отчеты и карты о Харьковской губернии. Статский советник Владимир Петрович был помощником премьер-министра Столыпина. Дмитрий Юрьевич, Егор Дмитриевич и Егор Егорович неоднократно избирались председателями Купянского уездного дворянства. Были среди них и мировые посредники, судьи, юристы, математики, инженеры, попечители благотворительных обществ.

Среди женщин наиболее известны устроительница Хорошевского монастыря Тавифа Сошальская и актриса Варвара Владимировна Розалион-Сошальская. Женщины из этого рода породнились со многими дворянскими родами Харьковской губернии: Шидловских, Земборских, Тимошенковых, Ковалевских, Тихоцких и др.

Автор этих записок Александр Григорьевич Розалион-Сошальский родился в 1797 году, в семье помещика слободы Юрьевка Купянского уезда. На военную службу был призван, будучи студентом Харьковского Университета, в 1816 году и определен в военно-топографическое депо. На следующий год в чине поручика он был отправлен в штаб 2-й армии. Карьеру картографа начал в 1819 году. На съемку Подольской губернии и Бесарабии у него почти 10 лет, и за это А.Г. Розалион-Сошальский был награжден орденом «Св. Анны» IV степени,

получил чин капитана, а от императора Николая I бриллиантовый перстень.

В русско-турецкой войне он участвовал в осаде Силистрии в июле и августе 1828 года. Когда под Шумлой был разбит гвардейский эскадрон Петербургского уланского полка, он был контужен и попал в плен. В турецком плену он находился на острове Халки до заключения мира. После возвращения из Турции в 1829 году, капитан А.Г. Розалион-Сошальский занимался рекогносцировкой реки Анды. Так как он знал турецкий язык, то на следующий год был направлен в район Родосто, крепости Дарданельского пролива и Солуна. Из Солуна, он через Македонию, Албанию и Сербию возвратился на Дунай. Об этих местах он дал подробный отчет» и составил карту Халкидика. Во второй раз он попал в Сербию в июне того же года, для того чтобы составить точную карту княжества. С ноября 1830 года, он был помощником русского посредника капитана Павла Евстафьевича Коцебу в комиссии за возвращение захваченных земель и определение новой Сербско-Турецкой границы. Это было единственное и последнее упоминание об участии Розалион-Сошальского в топографических съемках. Нами же в Московском военно-историческом архиве среди прочих рукописей, в военно-учебном фонде главного Генерального штаба были обнаружены *Военно-статистическое описание Бесарабии*, составленное во время съемки этой местности с 1821 по 1828 года и *Статистическое описание Сербии*, которые дают полное представление о деятельности А.Г. Розалион-Сошальского.

Русская миссия Сошальского – Коцебу, организованная в 1830 году, состояла из двух групп. Первая с середины июня, по распоряжению графа Ивана Ивановича Дибич–Забалканского, состоявшая из капитана Александра Григорьевича Розалион-Сошальского, поручика Мотто Густава фон Эссена и подпоручика Ивана Васильевича Каменского, имела задание определить, в каком состоянии находятся земли, которые в ходе войны были возвращены Сербии. Во время трехмесячной рекогносцировки и инструментальной съемки нужно было тайно составить точную и подробную карту Сербии, на которой нужно было указать предыдущие и теперешние границы, а также составить детальное описание. Об отсутствии такого описания упоминалось на переговорах в Стамбуле в 6-ом пункте Едренского мирного

договора. Это видно из донесения русского посланника Александра Ивановича Рибопьера: «У Порты нет ни карты, ни точного описания Сербии, не указана граница, которая возникла в результате боев, есть лишь плохая карта». Перед отъездом из Бухареста генерал Павел Дмитриевич Кисилев приказал русским офицерам «произвести старательную и научную работу, которая может иметь великое значение в истории и науке». В Крагуевце, русская миссия узнала, что Порта еще не вернула захваченные территории, и что они будут производить съемку на постоянной территории Сербии. В начале июля 1830 года они посмотрели смедеревскую крепость, а потом А.Г. Розалион-Сошальский прошел от Колара «по реке Ральи до Умчара и монастыря Раиновац». В Белграде им дали разрешение Визиря на осмотр крепости и города, а также на исследование Авалы и посещение монастыря Раковицы. Оттуда они дошли до уездов Валевски и Шабачки и в течение Августа и Сентября прошли остальную часть Сербии. Маршрут проходил через Сокольский уезд и Ядер, а по расспросам записали в своем донесении свидетельства о Старом Влахе. В конце сентября капитан А.Г. Розалион-Сошальский составил *Статистическое описание Сербии* и с подпоручиком Каменским они создали для нее картографическую основу. Поручик Эссен астрономическими измерениями определил положение Белграда, Шапца, Свойдруга, Пожеге, Карановца, Крагуевца, Чуприи, Смедерева, Градишта, Пореча, Чачака, Ясике и одну точку под Чернедским карантинном на левом берегу Дуная. Готовясь к возвращению в Бухарест в ноябре 1830 года, вместе с подпоручиком Каменским, он приготовил схему Сербии, картографический материал и *Краткое статистическое донесение о Сербии*.

С середины декабря 1830 года Министерство иностранных дел России послало в Сербию капитана Павла Евстафьевича Коцебу в качестве посредника Сербско-Турецкой комиссии об определении границ по решениям конференции 30–31 июня в Стамбуле. Помощником к нему был определен капитан А.Г. Розалион-Сошальский. Он уже имел административное деление Сербии и съемку части Сокольского уезда для «Карты ныне существующей Сербии, с присовокуплением уездов находившихся под владением народа Сербии во время заключения Бухарестского трактата в мае месяце 1812 года и отторгнутые

в 1813». Границы на востоке и юге были составлены на основе съемок произведенных в начале 1831 года.

Русские офицеры вместе с представителями Сербии и Турции вышли из Белграда 17 декабря, для осмотра территории, которые по требованию Сербии, отходили в ее состав. Для этого они прошли через Краину в Видину, где их задержал Ибрагим-паша, который не разрешил съемку территории и произведение описания пока не будет получено разрешение из Стамбула. Когда пришло разрешение и инструкции турецким представителям, они договорились, что «Коцебу произведет съемку территории, через которую будет проходить, Лебиб-эфенди сообщит о том кому принадлежали эти территории до того как они вошли в состав Сербии». Комиссия 3 февраля 1831 года отправилась в путь по долине Тимока. От Брегова до Княжевца Розалион-Сошальский и Коцебу произвели рекогносцировку местности, а Лебиб-эфенди составлял записки к описанию, при этом русские офицеры договорились не оставлять Лебиб-эфенди одного. Капитан Розалион-Сошальский вместе с топографической съемкой производил описание границы от Банье до границы Алексиначского уезда на Тополнице, в окрестностях Крушевца и Янкова ущелья.

После осмотра восточной границы представители встретились в Карановце 17 февраля 1831 года с князем Милошем Обреновичем. Из-за того, что Намик Али-паша, не гарантировал им безопасный проход через Старый Влах, здесь все представители кроме А.Г. Розалион-Сошальского завершили свою работу. Из-за ожидаемых волнений в Албании и Боснии, во второй половине февраля Коцебу и представители Сербии и Турции составляли карту Краевичкого уезда и окрестностей Ниша, а также собирали сведения о старых крепостях и укреплениях построенных во время первого Сербского восстания. Встреча со старейшинами из Новопазарского и Сталовлашского уездов и их сведения о южной Сербской границе 1812 года определили его приказать своему помощнику «капитану Розалион-Сошальскому составление по возможности карты этих мест, въезжая в пределы спорные сколько это возможно будет не подвергаясь опасности».

А.Г. Розалион-Сошальский прибыл 25 февраля 1831 года в Студеницы, в сопровождении князя Василия Поповича. По большому снегу они поехали в Иваницы, где их ожидал Йован

Мичич. В начале марта осматривали «наши бывшие шанцы и посты Голии по Явору и переночевав в Градце, прошли... рядом с Увухи и посмотрели где были в то время наши караулы и опять переночевав во Врановиче прошли через Шуплы Стены к Доброселице, где от Торника спустились до Златибора и Господин Сошальский осматривал гору Ивица до Дрини сказав, что ему не нужно осмотреть наши старые границы, так как в прошлом году ее нанесли на карту».

Капитан Коцебу вернулся из Кралева в Белград и вел переговоры с Лебиб-ефенди и Белградским визирем о разграничении. Ему помогал Розалион-Сошальский после своего возвращения из Чаetine. Был составлен протокол по включению территорий Сербии входивших в границах 1812 года, который был подписан «Гвардии Генерального Штаба капитаном Коцебой». Линии границы были нанесены на «Карту ныне существующей Сербии» и он подтвердил эти линии своей подписью. «Карта Сербии, которая была составлена Господином Сошальским, под управлением Господина Коцебу, в Сербии в 1831 году», в 4 экземплярах, из которых один был с турецкими надписями, была завершена 11 апреля 1831 года. Один экземпляр был скопирован Авраамом Гашперовичем и отдан князю Милошу Обреновичу для просмотра.

Капитан А.Г. Розалион-Сошальский в конце апреля 1831 года вернулся в Бухарест, где Эссен и Каменский производили составление карты. В июле генерал Кисилев доставил начальнику Главного Генерального штаба *Топографическую карту Сербии с добавлением захваченных Портой земель в 1813 году, Статистическое описание Сербии и дневник измерений и расчетов* астронома Эссена в двух частях. Император Николай I наградил А.Г. Розалион-Сошальского и Каменского повышением в чине, а Эссена орденом «Св. Владимира» IV степени. Карта Сербии вместе с другими государствами вошла в *Карту театра войны в Европе в 1828 и 1829 годов*, и издана Военно-топографическим депо в Санкт-Петербурге в 1835 году.

После возвращения из Сербии А.Г. Розалион-Сошальский находился на службе в Главном Генеральном штабе в Управлении кавалерии. Во время маневров 2-го кавалерийского корпуса под городом Чугуевом, на смотре в присутствии императора Николая I он был награжден орденом «Св. Станислава» III степени.

Из Санкт-Петербурга он был переведен в мае 1833 года в 1-ый резервный кавалерийский корпус обер-квартирмейстером, располагавшийся в Харьковской губернии. В 1836 году получил чин полковника, а в следующем году был награжден орденом «Св. Анны» II степени. С 1843 года находился в резерве Генерального штаба, а через год выходит в отставку в чине генерал-майора. Проживая в родовом имении Юрьевка Купянского уезда А.Г. Розалион-Сошальский успешно занимается хозяйством, поддерживает своих родственников, выкупает из залога имения своих братьев, племянников, в некоторых имениях принадлежащих Розалионам становится опекуном, воспитывает своих сыновей.

Имение Юрьевка в свое время принадлежало только Розалион-Сошальским, однако в разное время имения перешли во владение к помещикам Купянского и Изюмского уезда, в качестве приданного за представительницами женского пола Розалион-Сошальских. Особенно постарался дядя А.Г. Розалион-Сошальского – Семен Александрович Розалион, у которого было более 10 дочерей от разных жен и служанок. Его родной брат и родитель автора Записок – Григорий Александрович Розалион наоборот, правдами и неправдами скупал все принадлежащие ранее земли Розалионов. После его смерти, в 1820-е годы за его вдовой Надеждой Осиповной числилось более 10000 десятин земли, при том однако, что крестьян мужского пола было чуть более 100 душ. Это не позволяло получить ссуду для развития экономических заведений, и основным источником доходов были лошадиные заводы и тонкорунное овцеводство. Отставка А.Г. Розалион-Сошальского была вызвана весьма печальными событиями в семье. После смерти отца имение перешло к матери, которая в хозяйстве ничего не смыслила, крестьяне распустились, работали плохо, воровали хозяйский скот, беспрестанно напивались. Еще в 1832 г. брат А.Г. Розалион-Сошальского прапорщик Михаил был убит крестьянином сл. Юрьевка Ткаченко за то, что наказал последнего розгами за лень и пьянство. Управление имением взял на себя второй брат А.Г. Розалион-Сошальского – Арсений, но был задушен собственными крестьянами 3 февраля 1840 г., когда обнаружил, что они украли у него несколько баранов, а 17 овец задушила их собака. После смерти матери имение разделили на равные доли между тремя оставшимися братьями. А.Г. Розалион-Сошальскому досталось 3000 десятин и 150 мужского пола

подданных крестьян. Чтобы не лишиться средств к существованию, А.Г. Розалион-Сошальский вышел в отставку. Железной рукой он навел порядок в имении, и на 1850 г. оно приносило доход в 7000 рублей серебром.

Крестьяне почувствовав, что так просто от генерала не отделаться, тем более, что он окружил себя отставными преданными ему рядовыми гусарами и уланами, решили отравить его, подсыпав в бочку с селедкой яд. А.Г. Розалион-Сошальский выжил, чтобы вместе с другими дворянами участвовать в губернском комитете по крестьянской реформе, где с И.В. Малиновским, М.М. Ильинским, А.Ф. Бантышем и др. разработать собственный проект крестьянской реформы, существенно отличающийся от принятого позже императором Александром II. В 1861 году А.Г. Розалион-Сошальский одним из первых столкнулся с последствиями вновь принятой реформы. Его бывшие крепостные крестьяне считали, что помещик должен был наделы земли предоставить им бесплатно. Ситуацию обостряло и то, что слобода Юрьевка в ближайшей округе была крупным селом и если бы волнения крестьян не успокоили то, вероятнее всего оно перекинулось бы на ближайшие хутора и деревни. Эскадрон гусар крестьяне встретили с хлебом и солью еще на подходе к селу, инцидент был исчерпан. В дальнейшем наемные крестьяне, для работы на мельницах и винокуренных заводах, принадлежащих А.Г. Розалион-Сошальскому воруют, уводят скот, осуществляют поджоги.

Но никакие невзгоды не мешают этому образованному офицеру, талантливому литератору, заниматься творчеством. Он издал *Записки русского офицера в турецком плену 1828-1829 годов* и *Мои воспоминания*, последние считаются на сегодняшний день уникальными, поскольку раскрывают изнутри первые годы существования Императорского харьковского университета. В начале 1850-х годов составлял проект о уравнивании выгод при займах из приказов общественного призрения. Речь шла о возможности выдавать ссуды помещикам под залог земель незаселенных. С началом русско-турецкой войны 1853-1856 годов, пишет статью в немецкую газету «*Leipzige Illustrirte Zeitung*» с мнением о переменчивости политических убеждений этой газеты в отношении России.

А.Г. Розалион-Сошальский умер в своем имении Юрьевка 16 января 1873 года. Похоронен был в фамильном склепе, расположенном за Петропавловским храмом в слободе Юрьевка (ныне с. Макеевка Кременского района Луганской области). На месте фамильного склепа Розалион-Сошальских устроена местная свалка. Крестьяне по прежнему не любят Розалионов...

*Андрей Пармонов (Украина, Харьков).*

*Радивойе Бойович (Сербия, Чачак)*



# СОДЕРЖАНИЕ

Русско-турецкая война 1828 – 1829 гг. в освещении  
русского офицера, бывшего в плену у турок .....5

## **ЗАПИСКИ РУССКОГО ОФИЦЕРА, БЫВШЕГО В ПЛЕНУ У ТУРОК В 1828 И 1829 ГОДАХ.**

Глава первая .....7  
Глава вторая .....50  
Глава третья и последняя .....81

Из рода Розалион-Сошальских .....97

# **ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ МУЗЕЙ МІСЬКОЇ САДИБИ**

**провідне видавництво, що популяризує минуле  
Харкова, Харківщини, Слобідської України**

## Нещодавно побачили світ наступні видання:

Перепись Ахтырского слободского казачьего полка. - Харьков. 2010. - 648 с.

Родословные книги потомственных дворян Харьковской губернии. - Харьков. 2010. - 614 с.

Стефан Таранушенко. Старі хати Харкова. - Харків. 2010. - 168 с.

Стефан Таранушенко. Вітряки. - Харків. 2010. - 102 с.

Стефан Таранушенко. Козіївка. - Харків. 2010. - 56 с.

## Найближчим часом побачать світ наступні видання:

Стефан Таранушенко. Житло старої Слобожанщини

Стефан Таранушенко. Українські народні меблі

## Планується видати 2011 р.:

История дворянского рода Квиток

Харківський приватний музей міської садиби,  
вул. Миросицька 43, оф. 204, м. Харків, 61002 Україна

+ 380 57 756 79 50

[paf69@mail.ru](mailto:paf69@mail.ru)

Видання Харківського приватного музею міської садиби – це звертання до найрізноманітніших сторінок колишнього життя нашого краю. Захопливі екскурси в минуле, заклики до збереження цінних пам'яток, спомини про видатних постатей нашої історії

**ЗНАТИ МИНУЛЕ – РОЗУМІТИ СУЧАСНІСТЬ**



# ОТКУДА РОДОМ

*Объединяя поколения*

[www.otkudarodom.com.ua](http://www.otkudarodom.com.ua)



- генеалогические изыскания в архивах Украины и России
- восстановление семейных архивов
- подтверждение сословной принадлежности
- создание семейной летописи рода

ДЕПАРТАМЕНТ  
ГЕНЕАЛОГИИ  
Харьковского  
частного музея  
городской усадьбы,  
г. Харьков, Украина  
тел.: (057) 756-79-50;  
(057) 728-21-59  
E-mail: [paf69@mail.ru](mailto:paf69@mail.ru)



УДК 93 (09)  
ББК 63.3 (2) 47  
ISBN 978-966-2556-02-5

**Александр Григорьевич Розалион-Сошальский**  
**Записки русского офицера,**  
**бывшего в плену у турок в 1828 и 1829 годах**

*Російською мовою*

*Відповідальний за випуск* - В'ячеслав Стражев

*Редактор* - Андрій Парамонов

*Набор* - Анатолій Корольов

*Дизайн* - Олег Панченко

*Верстка* - Андрій Яхно

Підписано до друку 4 січня 2011 р. Формат 60×90/16.  
Папір офсетний. Друк цифровий.  
Гарнітура Rosalio. Умов. друк. арк. 6,75 Наклад 200 прим.

Видавництво  
«Харківський приватний музей міської садиби»  
Україна, 61002, м. Харків, вул. Мירוносицька 43, оф.204.

Тел. (057) 756-79-50  
E-mail: paf69@mail.ru  
<http://ysadba.rider.com.ua>  
<http://fotograf.rider.com.ua>  
<http://otkudarodom.com.ua>

Свідоцтво про державну реєстрацію:  
серія ДК №3879 від 14 вересня 2010 р.